



Анрей Томилов

**ПЛЕННИКИ
ТАЙГИ**

18+

Андрей Томилов

Пленники тайги

«ЛитРес: Самиздат»

2018

Томилов А. А.

Пленники тайги / А. А. Томилов — «ЛитРес: Самиздат», 2018

Героями книги являются простые люди сложной судьбы, живущие в трудных, порой невыносимых условиях дикой природы. Жизненные ситуации, трагедии при встрече с дикими зверями. Умение остаться человеком, попадая в самые нечеловеческие условия.

Бабушкины сказки (рассказ)

Женщина подносила к лицу ладони, сложенные лодочкой, чуть задерживалась с дальнейшим действием, словно сомневалась: стоит ли, и ныряла в них, в ладони, прятала там, или ироническую улыбку, или остатки полузабытого страха.

Скрывала лицо, слегка покачивала головой, сидела так какое-то время, в задумчивости, и выныривала, как из омута, за глотком воздуха. Выныривала, а глаза ещё не растворяла, словно ожидала, когда стечет по лицу пелена.

– Теперь уж и не знаю, было ли такое со мной, или просто придумалось мне, привиделось и засело где-то далеко в мозгу. Не знаю. И вообще, стоит ли об этом рассказывать? Кому это будет интересно... Поверят ли?

Мужчина, что сидел напротив и не сводил глаз с собеседницы, снова начинал убеждать, рассказывать, что это действительно будет интересно и нужно. Ведь в нашей стране так много лесов, так много людей ходит в эти леса, и по ягоды, и по грибы, на рыбалку, на охоту, просто на отдых.

– Обязательно нужно рассказать. Обязательно. Это будет интересно всем, не только тем, кто любит бывать в лесу, это будет интересно и тем, кто ни разу не ступил на лесную тропинку. Стоит рассказать, уверяю вас.

Женщина снова заныривала в свои ладони, хоронила там, пряталась, сомневалась ещё какое-то время, в конце концов, решила. Как-то тихо, в половину голоса, часто опуская глаза, поведала историю. Историю давнюю, настолько давнюю, что отдельные детали пришлось додумывать, память не справилась, чтобы удержать некоторые детали.

Клавдия, как звала её бабушка, была девочкой городской, даже чуть избалованной, как многие её сверстницы, живущие с любимыми и любящими родителями. Родители, и, правда, души в дочери не чаяли, любили безмерно. Каждое лето Клашу увозили в деревню, к бабушке, на свежий воздух и деревенские харчи.

Клаше и самой очень нравилось гостить в деревне, купаться целыми днями на речной отмели, отъедаться вкуснейшими бабушкиными караваемы и форсить перед деревенскими мальчишками всё новыми и новыми платьями, нарядами.

Вечера деревенские, это вообще любимое время городской девочки. Не зажигая света, бабушка и внучка сумерничали. Устраивались друг против друга за кухонным столом, возле окна, которое оставалось светлым чуть ли не до полуночи.

– Бабушка, расскажи...

– Снова сказку? Я же тебе уже рассказывала.

– Расскажи. Расскажи.

Бабушка улыбалась, хитро прищурилась, дотягивалась через стол и накрывала маленькие ручки девочки своими, тёплыми, ласковыми руками.

– Ну, хорошо. Слушай.

Кухонный сумрак становился ещё гуще от вкусных запахов, это совсем рядом, прикрытые чистым полотенцем, стояли шаньги, а за печкой, на стенке висели маленькие венички из неведомых, но пахнущих волшебством, лесных трав. Загадочный, журчащий голос бабушки уносил девочку в волшебную страну грёз и мечтаний с первых своих звуков, с первых слов.

– В некотором царстве, в некотором государстве....

И дух захватывало, и глаза у девочки становились круглыми и большими, влажно блестели в сумерках. Она поспешно покидала своё место, не выпуская рук, обходила стол и забиралась к бабушке на колени, тонула там, в объятьях и поцелуях. А бабушка рассказывала, рас-

сказывала, и становилось всё страшнее, а потом, всё радостнее, всё волшебнее и волшебнее. Ах, какая прелесть, эти бабушкины сказки. Какая прелесть! Как радостно становится, когда сказка заканчивается, как красиво заканчивается каждая бабушкина сказка. Как волшебно!

А деревенское утро! Как же не хотелось просыпаться...

Соседский Витька, кажется, всё лето сидел на заборе и поджидал, когда Клаша выйдет во двор, когда заметит его и помашет рукой.

– Идём на речку!

– Идём.

И бежала впереди, чувствуя, как Витька догоняет её и косится на пузырящийся подол нового платья. Чуть замедляла бег, но Витька не обгонял, ему нравилось смотреть на загоревшие, мелькающие девчачьи ноги. Добежав до берега, не останавливаясь, раздевались и с ходу плюхались в прохладную, ласковую воду.

Когда они прибежали на реку, Виталька уже был там. Он сидел на плотках и ждал. Чего он ждал? Он всегда старался поднырнуть ближе, старался сесть рядом, старался втиснуться между Клашей и Витькой. Витька злился, хоть и не показывал этого, а Клаша была на седьмом небе от счастья, она понимала, что мальчишкам она очень нравится и старалась ещё пуще. То ненароком подавала руку Витальке и так, прогуливалась с ним, не замечая ревностных Витькиных взглядов. А то, вдруг, падала на горячий песок рядом с Витькой и устало роняла голову на его спину, рассыпая по ней мокрые волосы. Виталька сходил с ума.

Мальчишки были старше Клаши на целых два года, но ей казалось, что они ещё так глупы в вопросах дружбы. Вот она, да, она что-то понимала, ведь осенью ей исполнится уже восемь лет. Ах, как быстро летят годы, – уже целых восемь лет!

Август был жарким, муторно жарким, как ему и положено. Бабушка все дни проводила в огороде, да занималась заготовками на зиму. В доме стоял приторно сладкий запах свежесваренного малинового варенья. Клаша пропадала целыми днями на речке. Знала, что подходит к концу её летний отдых, скоро приедет отец и увезёт её в город, к маме, к школе, к подругам, которым она будет рассказывать свои летние приключения. Будет рассказывать и чуть, чуть привирать, просто приукрашивать свои рассказы. Например, расскажет, как она целовалась то с Витькой, то с Виталькой. Ах, как они ей будут завидовать. Главное здесь не наговорить лишнего, чтобы подружки не поняли, что она сочиняет, и не просмеяли её. Да, надо будет сказать, что целовалась всего по одному разочку. Это будет выглядеть более правдоподобно.

Ну почему, почему лето такое короткое и так быстро проходит, так быстро.

У Витальки родители уехали на два дня в город, оставили его на хозяйстве. Он совсем взрослый. Почти взрослый.

На деревенской пристани стояла отцовская лодка, – водомёт, Виталька много раз ездил с отцом на этой лодке. И управлял сам, отец его научил. Ох, здорово гонять на водомёте по мелким местам! Так здорово, что восторг переполняет душу и она готова вырваться наружу и лететь! Лететь и кричать всем, как ты счастлив, счастлив!

Мальчишки решили, что лучшего случая им не представится, чтобы покрасоваться перед городской девчонкой. Решили покатать её на лодке, удивить. Удивить своим умением, своим мастерством, лихостью.

Клаша известие о лодке приняла с восторгом, но здесь же засомневалась, испугалась чего-то, стала отказываться. Но когда ей объяснили, что это совершенно безопасно, что в лодке даже спасательные жилеты есть, и что Виталька уже давно умеет управлять лодкой, согласилась. С опаской, но согласилась, оговорив, что прокатятся совсем недалеко и только возле бережка.

Ребята предупредили её, чтобы не говорила бабушке, а то ещё дойдёт до Виталькиных родителей, будут ругаться попусту. А дело-то пустяшное. На том и порешили. Правда, погода чуть было не нарушила все их планы, стал накрапывать мелкий дождь, на реке похолодало. Но к назначенному часу тучи снова разбежались и все собрались у лодки. Клаша была в брючках и лёгкой курточке, с красивыми, модными отворотами. В такой одежке ребята её ещё не видели, и она снова красовалась перед ними, прохаживаясь по галечному берегу, а они не могли оторвать от зрелища глаз.

Наконец, Виталька справился с замком, которым лодка была прикована к огромному тракторному колесу, сложил цепочку в нос лодки, посмотрел по сторонам и, поведя картинно рукой, проговорил:

- Прошу занять места согласно купленным билетам.
- Ура-а!
- Ура-а!

Все забрались в лодку, Витька отталкивался шестом, Виталька ждал, когда можно будет заводить мотор. Мотор запустился с первого раза и работал ровно, едва двигая лодку, булькая дымными пузырьками. Постепенно Виталька прибавил газ и лодка, поднатужившись, выскочила на самую поверхность воды, полетела, полетела, словно птица на крыльях. Клаша испытывала какой-то восторг, смешанный с диким страхом, хотелось кричать от радости и плакать от страха. Она крепко вцепилась руками в борт и смотрела, как берег быстро убегает в сторону. Становилось всё страшнее и страшнее. Ребята сидели впереди, о чём-то громко переговаривались, часто оглядывались на Клашу, снисходительно улыбаясь.

Когда течение реки стало ровным, лодка перестала прыгать и полетела ещё быстрее, из глаз выкатывались слезинки, но страх постепенно улетучился, и всем стало весело. Все кричали:

- Ого-го-о!

И Клаша кричала тоже. Потом кричать устали и просто сидели, откинувшись на спинки, слушали ровное, натужное гудение мотора. Оглядывались назад, на длиннющий пенистый хвост, остающийся за кормой. Где-то там, далеко, далеко сзади осталась бабушкина деревня. Ещё совсем недавно были видны крыши крайних домов, а теперь по берегам поднимались лишь кусты, да прогонистые, высокие деревья. Сопки, образовавшиеся вдруг и сзади, и спереди совсем закружили голову и, Клаша уже не могла даже определить, на каком берегу осталась их деревня. Со всех сторон мелькали острова, с нависшими над самой водой кустами, протоки становились то совсем узкими, что едва просматривался проход, то снова расширялись, заставляя радоваться простору и от восторга вскидывать руки.

Даже не заметили, как свернули в какую-то боковую речку. Лодка снова стала прыгать на крутых волнах и местами зарываться носом, залезать под эти самые волны. Движение совсем замедлилось, берега уже не мелькали так быстро и весело, а лишь тянулись и тянулись, лениво выводя путешественников из одного поворота в другой. Снова стало страшно, хотя Клаша не могла ещё понять причину этого страха. Скорее всего, страшно становилось оттого, что ребята о чём-то ругались и пытались оттолкнуть друг друга от рулевого колеса.

Может быть, они что-то там нажали, не то, что нужно, но мотор, вдруг, заглох. Лодку сразу понесло по течению, в обратную сторону, всё быстрее, и быстрее. И крутило во все стороны, качало на волнах. Мальчишки перестали толкаться и с ужасом смотрели по сторонам, на беснующуюся рядом воду. Лодка резко затормозила, налетев днищем на острый камень, Виталька не удержался от такого толчка и вылетел за борт, закричал. Течением его сразу оторвало от лодки и понесло под нависшее дерево. В лодке появилась вода, много воды.

Отвлёкшись на быстро прибывающую воду, ребята потеряли из виду Витальку. Лодка скребла дном по камням и всё больше заполнялась водой. Витька схватил за рукав оцепеневшую от страха Клашу и заорал ей прямо в лицо:

– Прыгай!!! Прыга-ай!!!

И первым сиганул через борт, увлекая за собой обезумевшую девчонку. Полузатопленную лодку в это время проносило недалеко от берега и они смогли зацепиться за него, выбраться на скользкие камни. Лодка ещё плыла, брякая разорванным днищем по камням, но вскоре совсем скрылась под водой и теперь шумела только вода. Даже тайга по берегам стояла, не шелохнувшись, удивлённая случившейся трагедией. А река шумела, шумела, несла и несла свои торопливые воды, омывая камни, подтачивая берега, делала свою извечную, нескончаемую работу.

Ребята забрались на крутой, нависший берег и повалились в мягкий мох. Принялись стаскивать с себя мокрую одежду и выжимать её. Витька стучал зубами, а Клаша громко ревела. Ревела и от всего, что с ними случилось, и от боли. Она сильно ударила коленку, когда прыгала из лодки, и теперь та болела, не позволяла даже шагнуть.

Витька вдруг гаркнул на неё:

– Да, замолчи ты! Перестань!

Она сразу смолкла, уставилась на него удивлённо, даже родилось какое-то чувство, подсказывающее, что Витька сейчас всё уладит. Вот сейчас, обернётся вокруг себя и превратится в волшебника. И сразу, сразу всё наладится: лодка будет стоять на пристани, прикованная к ржавому тракторному колесу, ребята будут восторженно смотреть на неё, затаив дыхание, а она, чуть отставив в сторону руку, станет прогуливаться по скрипучему песку. И коленка совсем не будет болеть. Но Витька не стал оборачиваться вокруг себя, не стал превращаться в доброго волшебника, он присел на колени, закрыл лицо руками и заплакал. Его плечи и спина мелко вздрагивали, он наклонялся всё ниже, ниже, пока не уткнулся головой. Чтобы хоть что-то говорить, Клаша тронула Витьку за плечо и проговорила:

– Надо Виталика покричать. Он же вылез на берег? Вылез?

Витька перестал вздрагивать, поднял голову:

– Пойду, посмотрю. Ты здесь сиди. Найду его и придём за тобой. Поняла?

– Поняла. Куда я денусь, коленка вон, на глазах вздувается.

И снова заплакала, только тихо, чуть слышно всхлипывая. Коленка, и правда, вздулась так, что едва помещалась в штанине обтягивающих брючек. С трудом стащив резиновые сапожки, Клаша вылила из них воду и поставила рядом, на проглядывающее между деревьев солнышко. Витя ушёл по берегу и, было слышно, как он кричит друга. Потом крик стал раздаваться издали, заглушаясь шумом воды, уже было не разобрать, что он кричит. И он ли это вообще. Потом и вовсе не стало слышно ничего, только вода, вода, вода...

Плакать больше не хотелось, хотелось быстрее попасть домой и ощутить ласковое прикосновение тёплых бабушкиных рук к больному колену. Казалось, что стоит только бабушке погладить это колено, приложиться к нему сухими бабушкиными губами, сразу утихнет боль и спадёт опухоль. Ах, бабушка, где же ты, со своими тёплыми, ласковыми руками? Где же ты?

Витьки не было.

Какие-то глупенькие, но такие желанные мысли лезли в головку девочки. Она рисовала себе предстоящие события. Уж, коль так случилось, уж, коль болит коленка, как-то надо выбираться домой. Видимо, мальчишки сделают какие-то носилки, усадят её на эти носилки и понесут. До самой деревни понесут, и там, прямо до самого дома. Деревенские девчонки обзавидуются! Только носилки надо сделать так, чтобы мальчишки шли по краям, а она сидела между ними, а руки положить им на плечи. Или на шею. Нет, пусть на плечи. А ноги лучше скрестить. Да.

Витьки не было.

Солнышко уже не проглядывало между мохнатыми деревьями, оно лишь угадывалось далеко внизу, на уровне Клашиного лица. Навалилась прохлада, а не просохшая одежда не грела, она наоборот, забирала последнее тепло. Дрожь пробежала по всему телу. Приближался вечер. Откуда-то поднялась мошка и Клаша едва успевала от неё отмахиваться. Поднявшись на одной ноге, придерживаясь за молодую берёзку, Клаша несколько раз крикнула, всё громче, громче:

– Витя-а! Витя-а-а! Виталька-а-а!

Тайга молчала. Даже ни одна синичка не отозвалась на эти крики. Да и крики-то были совсем тихими по сравнению с тем, как шумела река. Река кричала во всю свою мощь, во всю ширь, во весь свой извечный простор.

Витьки не было.

Ни Витьки, ни Витальки, куда они могли запропасться? Не могут же они просто так оставить её одну, скоро наступит ночь. Она ещё ни разу не оставалась в лесу одна, она вообще не оставалась в лесу, даже днём. Однажды бабушка брала Клашу с собой, когда ходила по грибы, было весело, но очень быстро всё надоело, особенно комары и лесная духота. Она тогда стала хныкать и уговорила бабушку вернуться домой, хотя корзинка была ещё почти пустой. Когда выходили из леса, набрали на ягодную полянку. Черника в тот год уродилась просто удивительная и Клаша принялась её поглощать, а бабушка стала собирать ягоды в ту же корзинку, где лежало несколько грибов.

Наевшись досыта, Клаша снова запросилась домой, но бабушка не соглашалась и, ползая на коленях, торопливо собирала ягоды. Эта жара, духота, комары, измучили девочку, и она пообещала себе, что больше никогда не пойдёт в лес. С тех пор прошло уже два года, но Клаша, действительно, ни разу не ходила с бабушкой ни по грибы, ни по ягоды.

Вспоминая это, Клаша и не заметила, как совсем стемнело. На небе, прямо над головой, высыпали звёзды, яркие и блестящие. Казалось, что они все шевелятся там, в вышине, гоняются друг за другом и переговариваются между собой. Как их там много!

Ни Витьки, ни Витальки так и не было.

Клаша, прижавшись к шершавым корням старой, разлапистой ели, свернулась клубочком, подтянула коленки к подбородку, обхватила их руками и тихонько заплакала. Особенно было обидно думать, что мальчишки уже дома и, напившись парного молока, развалились в своих постельках, сладко засыпают.

– Никогда им не прощу того, что они бросили меня одну в ночном лесу.

Коленки болело, по всему телу, от ночного холода пробежали неприятные, колючие «мурашки». Глаза слипались, слипались...

Витьки не было.

Открыв глаза, Клаша несказанно обрадовалась, что уже светло, уже утро и что она не умерла ночью от холода. Где-то над головой, невидимые, щебетали синицы. Щебетали так активно, что даже заглушали недалёкий шум реки. Девочка даже улыбнулась этим невидимым щебетуньям. А ещё подумала, что вот теперь, когда заявятся мальчишки, она примет гордый вид и совсем не покажет, как ей было страшно и плохо ночью. Как страшно. И плохо.

Она снова поднялась, пробуя ногу с разбитой коленкой. Приступить можно, но ещё очень болело. Осмотрелась кругом, вспоминая, в какую сторону вчера ушёл Витька. Совсем не понятно: идти в ту же сторону, или оставаться на месте и ждать. Не могут же они забыть о ней. Может быть, они уходили в деревню, чтобы позвать на помощь кого-то из взрослых? Тогда они обязательно скоро появятся. Только бы не забыли захватить чего-нибудь поесть. Очень хочется есть.

Клаша пыталась пожевать какую-то мягкую травку, но она оказалась горькой, противной, что даже пришлось спускаться под берег, чтобы прополоскать рот и напиться. Вода в реке была холодной, просто ледяной, недаром она вчера так промёрзла.

Бродила поблизости, припрыгивая на одной ноге, колено ещё очень болело, боялась отойти подальше, чтобы не разминуться с ребятами, когда они придут и принесут ей еды. Она уже и не сердилась на них, совсем, совсем не сердилась, лишь бы они быстрее приходили.

Но ребята так и не появились.

Проведя ещё одну ночь возле той же шершавой ёлки, с нависающими до самой земли колючими лапами, Клаша решила, что надо выбираться самой. Нечего ждать помощи от таких предателей. Они, наверняка уже и забыли про неё, а она всё ждёт, всё верит. Ещё ночью, между сном и просто забытьём, между тем, как горько плакала и просто лежала, свернувшись клубочком, прислушиваясь к ночным шорохам, она вспомнила, что учительница, рассказывала, как выбраться из лесу, если заблудился.

Тогда ещё все смеялись и думали: где его найти, тот лес, в котором можно заблудиться. И вообще, зачем забивать голову ненужной, пустяшной информацией, которая никогда в жизни не пригодится. Теперь она поняла, что было бы лучше, если бы она тогда внимательно слушала и запоминала. Вспомнилось, что она рассказывала о солнышке. Да, да, наверное, надо идти на солнышко и тогда всё получится. Вот же! Вот как просто! Так и решила, и, вздохнув с облегчением, уснула, твёрдо уверовав в то, что уже завтра, двигаясь за тёплым солнышком по натопанной лесной тропинке, она выйдет к деревне и обнимет бабушку.

– Первым делом попрошу её, чтобы ничего не рассказывала папе.

Снова утро. Прохладное, сырое утро. Над рекой, с её неугомонным, непрекращающимся шумом, висел густой, плотный туман. Он не висел, он лениво, нехотя двигался, плыл навстречу течению. А там, на той стороне реки, угадывалось солнышко. Оно было ещё совсем невысоко и проглядывало сквозь туман расплывчатым, ярким пятном, но Клаша сразу поняла, что это солнышко и тут же огорчилась. Ведь она ещё ночью решила, что будет идти за ним, а теперь оказалось, что оно на другом берегу. Чтобы перебраться через реку, нечего было и думать. Она снова уткнулась лицом в ладошки и тихонько заплакала.

Наплакавшись досыта, утёрла слёзы и почти сразу увидела гриб. Гриб вызывающе торчал коричневой шляпой над лесной подстилкой, а нога у него была толстая, просто пузатая. Казалось, что он стоит как бы боком и внимательно следит за плачущей девочкой. Клаше подумалось, что, может быть это и не гриб вовсе, может быть это лесной гном, который явился, чтобы спасти её. Она придвинулась ближе, склонилась и стала его разглядывать, даже шептать что-то стала, уговаривая помочь ей выбраться из этой глупейшей ситуации. Ведь бабушка, наверняка уже переживает.

Но гриб молчал. Как стоял, надменно выставив раздувшиеся бока, так и стоял молча. Клаша вспомнила, что грибы едят, не зря же бабушка собирала их. Она вытащила его из мха, чуть, чуть отряхнула корни и снова принялась рассматривать. Нет, это не гном. У гномов есть глаза и борода. Правда, они могут и притворяться вот такими грибами, но это мы сейчас проверим. Клаша впилась зубами в край шляпки гриба и стала откусывать, ещё прислушиваясь, ещё ожидая, что гриб сейчас вскрикнет от боли и превратится в маленького человечка. Но гриб молчал и она откусила. Здесь же выплюнула:

– Какая гадость! Как можно их есть?

Размахнувшись, швырнула гриб далеко в лес. Он отлетел, кувырнулся и замер там, на полянке, придавив какую-то знакомую веточку, с висющими на ней синеватыми ягодами. Клаша, прихрамывая, подошла ближе и увидела знакомые кустики черники, присела на коленки и стала с жадностью поглощать ягоды.

Туман рассеялся и солнышко, пробираясь сквозь деревья, ласково припекало, а сытость стомила девочку, глаза слипались, хотелось спать. Ёлку, где она провела две ночи, Клаша не

нашла. Видимо, в поисках ягод, она отошла далеко, даже шум реки теперь доносился совсем слабо и, будто сверху. Разморившись, она прижалась к другому дереву, со светлой, гладкой корой и стремительно провалилась в сытый и спокойный сон.

Она снова плыла на носилках, которые несли её верные друзья Витька и Виталька, а она нежно обнимала их за плечи, улыбалась и раскланивалась на стороны, где стояли все её подруги и, почему-то, аплодировали. В глазах у подруг было столько зависти, столько зависти...

Проснулась оттого, что всё лицо съели комары. Эти комары! Их, комаров, то совсем нет, то откуда-то налетят и кусают, кусают. Лицо покрылось волдырями от многочисленных укусов и теперь сильно чесалось.

Снова стала собирать в ладошку ягоды и ела, не замечая, что вся измазалась, словно жидкими чернилами. Ягод стало попадать всё меньше и чтобы насобирать горсточку, приходилось переходить дальше и дальше. Шум реки теперь вообще не слышался, но это даже обрадовало Клашу. Ведь когда ребята придут и станут её искать, станут кричать, она сразу услышит их. Не то, что там, у реки, где кроме шума воды вообще ничего не было слышно.

Ещё одна ночь прошла под ёлкой, на краю черничной полянки. Холодная, страшная ночь, когда совсем недалеко, на дереве кто-то ухал и щёлкал зубами. Клаша так испугалась, что боялась шевельнуться, чтобы её не заметили. Она сразу поняла, что это злой колдун подыскивает себе жертву, уж она-то в этом разбиралась, понимала, где добрый волшебник, а где злой колдун.

На следующий день, когда она снова собирала ягоды и насыщалась, ей встретилась тропинка. Девочка очень удивилась, что так близко от места её ночлега, где она то и дело плакала от страха и безысходности, проходит такая хорошая тропинка. Наверное, мальчишки и воспользовались ей, чтобы выйти из этого ужасного леса, чтобы уйти в деревню. Клаша пошла по тропе, потом о чём-то задумалась и, развернувшись, пошла в другую сторону. Такое решение она приняла по той причине, что солнышко-то было в этой стороне, хоть и не строго по направлению. Колено ещё болело, но уже не так сильно, уже можно было шагать и шагать по тропинке.

Видимо, многие пользуются этой тропкой, местами из земли торчали гладкие, обшарпанные корни, а местами земля была выбита до голых камней. Начался какой-то спуск, и тропинка разбежалась в разные стороны, превратившись сразу в три, четыре тропки, только уже менее заметные, а потом и вовсе исчезла. Клаша прошла дальше, услышала нежное журчание и нашла маленькую струйку воды, образующуюся из замшелых камней. Долго пила, подставляя ладошку.

Перейдя ручей, стала снова подниматься и вскоре опять встретила попутную тропинку. Обрадовалась, пошла быстрее, надеясь, что уже вот там, вон за теми деревьями станет видно крыши деревенских домов. Но домов там не было. Тропка, то появляясь, то снова исчезая, обогнула пологую сопку, сбежала в очередной распадок и совсем пропала. Откуда же Клаша могла знать, что тропинка эта была зверовая, что ей пользовались олени, медведи и другие лесные обитатели для перехода из одной поймы реки в другую.

Долго, очень долго шла девочка по тропинке, выходя то на открытые, солнечные поляны, то снова ныряя под полог тёмного и неприветливого леса. На полянах можно было найти ягоды. Клаша уже стала разбираться, что черника вкусная, сладкая, а красная, белобокая ягода совсем не сладкая. Кажется, бабушка называла её брусничкой. Да, брусника не очень вкусная, но её тоже можно есть, уж лучше брусника, чем грибы. А грибы всё чаще и чаще встречались возле тропинки. Но Клаша их не собирала, просто присматривалась, чтобы не пропустить настоящего гнома, но гном всё не встречался. Она не расстраивалась, она же знала, что гномы очень умело прячутся, заметить их бывает очень сложно.

Тропинки снова не стало, она, как-то незаметно исчезла, Клаша стала пробираться от дерева к дереву, спускаясь всё ниже и ниже по склону. Толстый слой мха мешал шагать, особенно ногой с большой коленкой, приходилось часто останавливаться, присаживаться на кочки и отдыхать. Во время отдыха можно было, и поплакать, после чего становилось гораздо легче.

Вскоре Клаша услышала далёкий, но такой знакомый шум, что даже обрадовалась, словно родному человеку, попыталась бежать навстречу этому шуму. И вот впереди уже появились просветы, ближе, ближе. Река шумела просторно, не скрываясь, прыгала на огромных камнях, ныряла под деревья, упавшие вершиной на самую середину русла, неслась, неслась.

Досыта напившись холодной, вкусной воды, Клаша хотела идти дальше, туда, куда так стремительно бежит река, но вдруг навалилась какая-то дикая усталость, не хотелось даже шевелиться. Она, на коленках, отползла подальше от берега, нашла углубление между двух кочек, обросших мягким мохом, и удобно устроившись, почти сразу уснула.

Ночь возле реки, возле воды, была невыносимо холодной. Перекладываясь то на одну сторону, то на другую, Клаша тряслась от мороза и беспрестанно плакала, вернее, просто хныкала, без слёз.

С трудом дождавшись утра, девочка снова двинулась вдоль берега, вслед за течением. Вспоминались бабушкины сказки, особенно про путеводную нить. Ах, как бы хорошо было найти такую путеводную нить сейчас, как бы она пригодилась, как быстро бы такая нить вывела Клашу напрямик к бабушкиному дому. Как бы радовалась бабушка встрече со своей любимой внучкой, обнимала бы её и целовала, целовала.

Домик появился перед девочкой внезапно. Она сразу подумала, что это, непременно, проделки лесного гнома. Видимо, гном следит где-то издалека и вот теперь решил, что уже пора помогать такой хорошей, такой прилежной и усердной девочке. Вот он и построил прямо перед ней маленький лесной домик. Она обрадовалась. И испугалась. Подошла к распахнутой, подпёртой двери и долго всматривалась в тёмное нутро зимовья.

Было непонятно, почему добрый гном построил для неё совсем старый дом? Совсем старый, заросший со всех сторон высокой, пожухлой травой и даже крапивой. Рядом с домиком, возле тропинки, которая убегала в сторону реки, рос огромный, весь разломанный куст черёмухи. Ягоды на черёмухе, были уже чёрные, но ещё не очень вкусные. Вот когда настанет настоящая осень, вот тогда они становятся совсем сладкими. Клаша помнит бабушкины караваи с черёмухой, было очень вкусно. Только, чтобы стало так вкусно, надо много трудиться, бабушка рассказывала. Сперва сходить в лес, найти такой кустик и собрать ягоды. Потом высушить их, на металлическом листике в большой русской печке. Потом долго и старательно растереть тяжёлым металлическим пестиком в глубокой, такой же тяжелой ступке. И только когда ягоды превратятся в порошок, от которого очень вкусно пахнет, можно будет ссыпать этот порошок в полотняный мешочек. А когда нужно стряпать каравай для любимой внучки, можно зачерпнуть из мешочка почти полную кружечку порошка, размочить его в тёплой водичке и стряпать.

Вспомнив всё это, Клаша снова нахмурилась, ей стало себя жалко, она уселась на высокое крылечко избушки и горько заплакала.

Досыта наплакавшись, девочка зашла в избушку и осмотрелась. В углу, на камнях, стояла печка, наполненная дровами и берестой для растопки. На столе, возле маленького оконца, лежала коробка спичек, пачка махорки и остаток от газеты. На нарах была старая, затхлая трава, а сверху расстелена старая, с торчащими клочками ваты, телогрейка. Такая же телогрейка висела на стенке, на гвоздике.

На других нарах, с той стороны стола, вообще не было ничего, тускло светились голые жерди. На жердях, перевернутыми вверх дном покоились закопченный чайник, такая же закопченная кастрюля, кружка и ещё маленький котелок, с проволочкой вместо дужки. Из стены над оконцем торчала алюминиевая ложка, она была воткнута там, между брёвнами.

– Эх, ты, гномик, зачем же мне ложка, ягоды, что ли хлебать?

Взяв кружку, она сбегала к реке, попила там и принесла целую кружку воды в избушку, поставила на стол.

– И махорку мне не надо, её только пьяные, деревенские дядьки курят.
Отбросила пачку на голые нары, за чайник.

В зимовье Клаша жила долго. Почти целый месяц.

Она сама растапливала печку и в домике становилось тепло. Так тепло, что можно было снять курточку, забраться на нары, в самый уголок и тихонько плакать. Она научилась приносить с реки воду в чайнике и греть её. Тёплую воду было приятно пить. А ещё у Клаши случилась большая радость, когда она, спустя несколько дней после того, как поселилась в домике, обнаружила почти целый мешок сухарей. Мешок был привязан к потолку и сразу девочка его не заметила, вернее, заметила, конечно, но не придавала этому значения. И лишь через несколько дней, просто из любопытства, она сняла мешок и с трудом развязала его. Клаша запрыгала от радости, когда вытащила первый сухарь. А ещё там же, в сухарях, лежал мешочек поменьше, с макаронами. Она всё это грызла и запивала водой. Казалось, что такой вкуснятины Клаша ни ела ни разу. Очень ей понравились сухари и макароны.

Дрова, которыми Клаша топила печку, лежали под нарами, и вот, уже закончились. Она стала ходить по лесу, вокруг домика и собирать хворост. Правда, хворост плохо разгорался и тепла от него было совсем мало. Потом закончились спички, стало нечем растапливать печь. Снова плакала.

Потом закончились макароны, хотя Клаша и берегла их, грызла только по три штуки в день. Закончились сухари, даже крошки, которые она вытрясла из опустевшего мешка в кастрюлю и ела их ложкой.

Ночью в домике становилось невыносимо холодно и Клаша натягивала на себя старую фуфайку, поджимала коленки и трудно засыпала. Постоянно снилась какая-то еда. И днём, и утром, и вечером, постоянно хотелось есть.

Снова пришлось заниматься собиранием ягод. Девочка даже забиралась на развесистый куст черёмухи и собирала ягоды. Однажды её внимание привлекло какое-то красное пятно под пологом леса, в стороне берега. Она подошла ближе и обнаружила там рябину, всю усеянную гроздьями ягод. Клаша насобирала там целую кастрюлю ягод, рассыпала их на столе и ела, не вставая с нар. Там же, возле рябины, на глаза попала огромная, смолистая шишка. Когда-то давно, когда Клаша была ещё маленькой, папа привозил откуда-то такие шишки. Он сам выковыривал из них орешки, раскусывал их, а ядрышки отдавал Клаше. Было очень вкусно.

И вот теперь Клаша сама нашла такую шишку. Она попробовала её расковырять, но только вся перепачкалась в смоле и отложила это занятие на другое время.

Почему-то часто хотелось спать. Клаша прикрывалась фуфайкой и проваливалась в тревожный, разорванный на мелкие отрезки сон. Проснувшись, торопливо спохватывалась, выскакивала из избушки, но видела всё те же лохматые деревья, то качающиеся под ветром, а то стоящие тихо и молча, как огромные, заколдованные великаны.

– Эх, если бы я была волшебница, я бы вас расколдовала и тогда вы бы унесли меня к бабушке. Прямо через леса, моря и горы...

Слушала шум реки и возвращалась, начиная плакать ещё там, за дверью.

Пришло время и она смогла расковырять шишку, добыть себе орешки. Щелкать их было трудно, но ядрышки оказались очень вкусными и сытными, даже вкуснее, чем макароны.

Всю ночь дул ветер и когда утром Клаша отправилась искать шишки, радости не было предела, шишки валялись везде. Она набрала полную охапку и принесла в избушку. Можно

было ещё собирать, но очень хотелось спать, да и холодный ветер пригнал откуда-то низкие тучи, повалил густой снег. Клаша решила, что началась зима и снова плакала.

Утром, выйдя из зимовья, Клаша увидела белые покрывала, закрывшие полянки между деревьями. Снег был мокрый и очень холодный, сразу замёрзли ноги и расхотелось идти в лес, чтобы искать шишки. Она вернулась в домик, залезла в свой тёмный угол и стала доедать кисточку рябины. Ягодки были горькими, но быстро утоляли голод.

К полудню, когда солнышко поднялось выше деревьев, с крыши побежали струйки воды, потеплело. В лесу снег тоже растаял, почти везде. Клаша снова ходила поблизости от избушки и собирала шишки. Она научилась разбивать их толстой палкой и собирала чистые орехи в кастрюлю. Набралось много, может быть не на всю зиму, но надолго. Правда, жить здесь, в холодной избушке, Клаше очень надоело. Она придумывала разные варианты при помощи которых можно выбраться отсюда, вернуться к бабушке, а ещё лучше, прямо домой, к маме. Это были и разные гномы, и другие волшебники, и расколдованные великаны, и замечательные ковры самолёты.

– Ах, как бы они все обрадовались, если бы я выбралась домой, если бы выбралась.

Снова выпадал снег и снова стаивал. Клаша познакомилась с белкой. При их первой встрече они сильно испугались друг друга, даже разбежались в разные стороны. Но уже на другой день снова встретились и стали вместе собирать шишки. Клаша рассказала белке, что она заблудилась и теперь очень хочет домой. Белка тоже что-то рассказывала, прихлопывая передними лапками по стволу дерева, но Клаша так и не поняла, что. Видимо, у белки тоже были какие-то проблемы, и Клаша жалела её.

Однажды, собирая шишки, Клаша набрела на большие, широкие следы. Она так поразилась своей находке, так обрадовалась, что даже бросила собранные шишки и кинулась по следам с криком:

– Дяденька! Дяденька, я же здесь! Дяденька!

Она же почти взрослая девочка, она же прекрасно понимает, что её будут искать. Её уже ищут, и вот, кто-то, может быть, даже папа, прошёл совсем близко от избушки в которой спала Клаша. И не заметил её. Наверное, он кричал, а она спала и не слышала, ах, какая досада.

– Дяденька! Папа! Я здесь.... Здесь....

Крика не получалось. Из простуженного, больного горла вырывались какие-то визги и сипы. И разговаривала она совсем тихонько, – горло болело.

Клаша решила, что нужно быстрее бежать по следам, чтобы найти, догнать того, кто ищет её. Как могла, бежала, спешила, задыхалась, кричала, снова бежала. Снег начал быстро таять и следы стали исчезать. Только во мху оставались глубокие отметины и девочка пробиралась по ним.

Выскочив на полянку, между огромными, разлапистыми кедрами, Клаша почти рядом, прямо перед собой, увидела большого, рыжего медведя, лежащего на животе и грызущего шишку, зажатую в когтях. От удивления, Клаша даже не остановилась, она лишь пискляво произнесла:

– Миша-а....

И упала на колени.

Медведь подпрыгнул на месте, выпустив очищенную шишку, громко рявкнул и бросился бежать. Скрылся за деревьями.

– Стой! Стой, Миша, стой!

Девочка снова поднялась на ноги, хотя сделала это с большим трудом, протянула вперёд руки и двинулась следом за скрывшимся медведем. Пищала, при этом, сипела и хрипела.

Ещё через какое-то время Клаша совершенно выбилась из сил, остановилась, прислонившись к дереву, и уже тихонько, почти шёпотом проговорила:

– Мишенька, не оставляй меня... Пожалуйста...

Обессилившие ноги девочки подогнулись, и она упала там, где стояла. Может быть, она уснула, от той дикой усталости и слабости, разлившейся по всему телу, или лишилась чувств. Лежала так, раскинув руки и выставив кверху красное, потное от высокой температуры лицо. Лицо было всё измазано смолой, к которой прилип различный лесной мусор. Если бы эту девочку вот сейчас встретил её отец, вряд ли он смог бы узнать её с первого раза.

Медведь осторожно вернулся к поляне, с которой только что убежал. Стоял за деревьями и внимательно изучал обстановку, всматривался в неподвижного человеческого детёныша и ждал, когда появится другой, взрослый человек. Но взрослый человек не появлялся, а детёныш так и лежал неподвижно, хрипло и натужно дыша.

Медведь сделал ещё шаг, проваливаясь в мягкий мох, снова прислушался. Различались только привычные лесные звуки, лёгкий ветерок раскачивал вершины кедров и они перешептывались. Кедровки, радуясь богатому урожаю, пировали по верхам, старались перекричать друг друга. Взрослого человека не было ни слышно, ни видно. Медведь был уже довольно старым, даже зубы начали крошиться и даже выпадать, он многое повидал на своём веку и знал, что человеческий детёныш не может бродить по тайге в одиночестве. Это звери, такие, как волки, олени, медвежата, могут найти себе пропитание в лесу и выжить, а человек... Нет. Бывали, наверное, какие-то редкие случаи, но, вообще-то человек, маленький человек, совершенно беспомощен. Он даже мышку поймать, чтобы съесть её, не может, не умеет.

Медведь ещё ближе подошёл. Стало видно красное, распаренное лицо девочки, видно как трудно она дышит. Казалось, он о чём-то глубоко задумался, внимательно всматриваясь в бездвижное тельце девочки. Вот она коротко застонала и огромный, с поднятой на загривке шерстью зверь, вздрогнул всем телом, напряжился, чтобы в любой момент отпрыгнуть, броситься за ближние деревья. Успокоился. Шерсть на загривке улеглась, ещё придвинулся и навис над ребёнком, стал обнюхивать ноги в промокших брючках, курточку, с оторванной верхней пуговицей, лицо... Губы у медведя вытянулись, вывернулись наружу, обнажая черные, старческие бородавки.

Он совсем надвинулся над Клашей, загородив собой солнышко, нюхал, нюхал, глубоко и медленно втягивая в себя человеческий запах. Чуть прикоснулся языком к распаренному, болезненному лицу, ещё, ещё раз, и уже смелее, увереннее стал вылизывать это лицо, отмывая его от засохшего мусора, смолы, размазанных слёз.

Клаша очнулась и, нехотя, едва шевеля ресницами, открыла глаза. Медведь чуть отстранился, снова напрягся, готовый в любой момент прыгнуть в сторону.

– Мишенька... Ты меня нашёл...

Клаше казалось, что она говорит, говорит громко и радостно, но на самом деле она лишь едва шевелила губами, а звуки уже не вырывались наружу, оставались лишь в сознании девочки. Она рассказывала, как она ждала, как она верила, что её кто-то найдёт, кто-то добрый и волшебный, найдёт и обязательно спасёт, вынесет домой, к бабушке. И все будут радоваться, все будут хвалить доброго и смелого волшебника. А Клаша побежит в горницу и быстренько переоденется в самое красивое, самое нарядное платье. И все будут смотреть на неё, смотреть с восторгом и немного завидовать. Потом подойдёт к своему спасителю, обнимет его за шею и, при всех, поцелует. Все станут хлопать в ладоши, а медведь превратится в прекрасного принца и сразу поднимет её на руки...

Клаша снова очнулась от прикосновения шершавого, тёплого языка, дотронулась рукой до мягкой шерсти. Это заставило медведя снова насторожиться и, уже в который раз, поднять на загривке шерсть, чуть отстраниться. Девочка беспричинно заплакала, беззвучно скривив

губы и моргая длинными ресницами. Слезы текли по щекам и медведь снова начал их слизывать. Ему понравилось слизывать теплые, соленые слезы.

Клаша тяжело болела и не могла даже подняться, она безвольно лежала на боку и следила за своим новым другом. Медведь ещё долго сидел рядом, время от времени принимаясь обнюхивать девочку, потом чуть отошёл в сторону, нашёл там шишку и начал её грызть. Потом принёс вторую, третью.

Когда солнышко спряталось за деревья, стало совсем холодно. Клаша вся тряслась и кашляла. Она свернулась клубочком и положила руки между коленками. Медведь подошёл и топтался рядом, смотрел, как ребёнок весь трясется от холода. Обошёл с другой стороны и лёг рядом, привалился к девочке, почти накрыв её, укутав своей шерстью.

Ночью Клаша снова принималась плакать, пыталась оттолкнуть Мишку и пинала его ногами. Но тот не обращал на это внимания, он даже храпел, как старый дед, лишь изредка вздрагивая и перебирая лапами, словно бежал куда-то, бежал, бежал. Видимо, и медведям снятся сны. Сны о далёкой молодости и таких стремительных и удачливых охотах.

Новый день изменений не принёс. Только стало чуть теплее и весь оставшийся снег растаял. Но Клаше теплее не становилось. Она согревалась только тогда, когда медведь наваливался на неё, прикрывал своей шерстью. Но иногда он наваливался слишком сильно, тогда Клаша брыкалась, пищала, верещала и отталкивала лесного громилу. Он вставал, удивлённо смотрел на неё и укладывался по-другому. Днём он отходил, чтобы найти шишки и долго, сыто хрустел орешками, поглощая их вместе со скорлупой.

Клаша есть не хотела. Она уже вообще ничего не хотела, просто лежала и ждала. Ждала, когда Миша понесёт её домой, или не понесёт. Однажды ей показалось, что и не стоит уже возвращаться домой. Наверное, там уже все забыли про неё, конечно, забыли. Если бы не забыли, то уже давно бы нашли, вот, даже Миша нашёл её, а больше никто не ищет. Становилось обидно, и она снова беззвучно плакала.

Проходили ещё дни, тянулись ночи. Очень хотелось пить, постоянно хотелось пить. Приходя в себя на короткое время, девочка дотягивалась до края своей лежанки и дрожащей рукой собирала снег, выпавший за ночь и ещё не успевший растаять. Тянула этот снег к лицу и прижимала ладошку к распухшим, растрескавшимся губам. Клаша была совершенно обессилена, она уже не сопротивлялась, когда медведь придавливал её, ложась рядом, что бы согреть. И вот пришло время, когда она больше не приходила в себя, всё спала и спала. Она не просыпалась даже тогда, когда медведь начинал скрести по курточке своими огромными когтями, а потом, вытянув трубочкой свои тёмные, почти черные губы, издавал какие-то странные звуки, направляя их прямо в лицо девочке.

Клаша не просыпалась.

Медведь начинал сильнее скрести когтями по курточке, принимался лизать лицо, потом прихватил её зубами за руку и потянул, потянул. Опять вопросительно заглядывал в лицо. Клаша не просыпалась. Он отошёл в сторону и стал прыгать на одном месте, сильно ударяя передними лапами по земле, при этом громко ухая, словно хотел кого-то напугать. Клаша не просыпалась.

Медведь снова приблизился, полизал девочку в лицо, выпрямился, даже привстал на дыбки, озабоченно глядя по сторонам и, не оглядываясь, стремительно куда-то ушёл, убежал.

Спустя несколько часов, медведь снова появился возле девочки. Он опять прыгал рядом, сотрясал землю и громко рывкал. Убедившись, что человеческий детёныш не реагирует на все его выпады и рычания, медведь ещё раз оглянулся по сторонам и осторожно, обнажая зубы, прихватил ими куртку девочки и потянул. Перехватил удобнее и приподнял ребёнка. Клаша

повисла вниз лицом, безвольно распутив руки и ноги. Она и не чувствовала, что её куда-то несут, что она плывёт и плывёт, через тайгу, через леса, через горы. Совершалось какое-то волшебство, и было невыносимо жаль, что Клаша не видит этого, не присутствует при этом, ведь она так верила, что именно добрый волшебник спасёт её. Именно добрый волшебник. И вот, возможно ли такое, возможно ли? А случилось....

Возле зимовья снегу было больше, чем глубоко в тайге, он здесь уже не таял несколько дней. Зима придвинулась совсем близко.

От удара огромной лапой, Клаша очнулась и заплакала от прокатившейся по телу боли. Удар лапы пришёлся по спине, там же, на курточке, образовались четыре дырки от когтей. Вытерев застилавшие глаза слёзы, Клаша увидела прямо перед собой знакомый лесной домик. Продолжая плакать, она, почти на коленках, добралась до порога, поднялась, придерживаясь за бревенчатую стену, с трудом открыла дверь и перевалилась в сумрак зимовья. Уже сидя на нарах, поняла, что в домике произошли какие-то изменения, это заставило её окончательно проснуться, внимательно оглядеться.

На столе стоял чайник, наполненный холодной, просто ледяной водой. Клаша припала губами к носику чайника и напилась. Увидела, что рядом, на самом краешке стола, лежат две новенькие коробки спичек. Сразу посмотрела в сторону печки, дверка была открыта, а внутри лежали дрова, между поленьями белела береста. Девочка торопливо, пока не исчезло это волшебство, поднесла горящую спичку и береста сразу занялась, затрещала, стала плотнее скручиваться, выдавливая из себя всё больше и больше пламени. Закрыла дверку и снова осмотрелась.

На потолке, как и прежде, висел мешок и, кажется, опять с сухарями. Даже дотронулась до него рукой. На нарах тоже лежали мешки и какая-то коробка. Клаша поняла, что случилось чудо, что медведь, который нашёл её в этом диком лесу, оказался добрым волшебником. Он принёс в домик много продуктов, наготовил дров и оставил спички, подвесил к потолку мешок с сухарями. Сухарей там было так много, что можно было их грызть, не считая, не думать, что может не хватить на завтра, но Клаша совсем не хотела есть. Даже если бы сейчас, по мановению волшебника, на столе зимовья появились бабушкины караваи, Клаша не стала бы есть, не хотелось. Она ещё попила ледяной воды, подержала руки над печкой, которая уже начала нагреваться и наполнять домик теплом, залезла в свой дальний уголок, накрылась фуфайкой и сразу провалилась в глубокий, болезненный сон.

Конечно, Клаша приписала всё случившееся волшебнику. Откуда она могла знать, что домик этот, вовсе не домик гнома, а зимовьё охотника. И в то время, когда Клаша отсутствовала, когда она убежала по следам, думая, что догоняет какого-то человека, а возможно и папу, тогда охотник и приехал в своё зимовьё.

Приехал он на конях, привёз продукты для того, чтобы жить здесь и охотиться всю зиму. Охотник сразу понял, что в зимовье долгое время кто-то жил. А зная, что в соседнем районе, в лесу, потерялась маленькая девочка, подумал, что это может быть именно она. Девочку искали почти два месяца, но все поиски были напрасны. И вот теперь, когда на пороге уже была зима, возникла новая, хоть и чуточная, надежда. Приготовив всё необходимое, на случай появления девочки, охотник торопливо выехал в посёлок и поднял людей, сообщили и, убитым горем, родителям.

Когда много охотников, лесовиков, приехали сюда, к старому зимовью на конях, с собаками, с ружьями, нашли рядом с зимовьём следы огромного медведя. Все были очень рады, что медведь не успел навредить, не добрался до девочки. Обнаружили Клашу в том же уголке, прикрытую старой телогрейкой. Она была жива, тяжело, хрипло дышала простуженными лёг-

кими и не просыпалась, как только её не тормозили. Так и вывезли из тайги спящей, только в больнице она пришла в себя. Первым человеком, кого Клаша увидела возле себя, конечно же, была её мама, вся заплаканная, но очень счастливая.

Женщина опять закрывала лицо ладонями, замирала так, словно вспоминала какие-то детали, просматривала их снова и снова. Смущалась чему-то. Загадочная улыбка блуждала на её губах.

– И вот уже столько лет прошло, а меня всё тянет и тянет туда. Мне кажется, что я смогу найти, встретить того волшебника – медведя. Только я об этом ни кому не говорю, засмеют, или скажут, что чокнутая. Нет, не говорю. А вы как думаете: он бы меня узнал? Глупо, да? Сама знаю, что глупо, а хочется.

– Наверное, сложно было восстановиться, вернуться в мир людей?

– Особой сложности я не чувствовала, просто жизнь для меня раскрылась более широко, многогранно. Через несколько лет после происшествия, родители водили меня в зоопарк. Не поверите, возле клетки с медведем со мной такая истерика случилась, что вызывали скорую. Сама не понимаю. И до сих пор не могу на это смотреть.

– А ребят... Ребят так и не нашли?

– Ой! Да что вы! Нашли, конечно. Они сами и нашлись. Витька, подлец, уже на второй день дома был. А Виталька, только на пятый день к рыбакам вышел. Костёр на берегу увидел, вот и вышел.

– Отчего же вы Витю подлецом обозвали?

– А кто же он? Он и есть... Трус и Он же не признался. Только через три дня, когда милиция на него надавила, вот тогда и рассказал. Его повезли на место, чтобы показал, где лодка утонула, а он и речку-то найти не смог, всё по протокам водил. А когда Виталька появился и правильно всё показал, было уже поздно, я уже далеко ушла, через перевал. Никто и не думал даже, что я, с больным коленом, могу уйти такую даль.

– Интересно. Вот ведь как бывает.

– Самое интересное в другом. Витька этот, теперь является моим мужем. Да. И у нас две прелестные дочки! Мы очень дружно живём.

–М-м...

– В лес только не ходим. Витя против, а я и не спорю.

А вы зачем это спрашиваете-то? В газету хотите? Да? Бабушка очень долго болела, переволновалась за меня... Всю зиму в больнице лежала, – сердце.

– Хочу рассказать, что не перевелись ещё на свете добрые волшебники. Просто в волшебство нужно верить. Порой так хочется верить в волшебство, а здесь живой пример.

Лукса и мотор

Лукса внимательно осматривал новенький, блестящий чайник, близко подносил его к глазам, ощупывал заскорузлыми пальцами, словно хотел непременно найти дырку, или какой-то другой изъян.

Лукса, это старый охотник из самого дальнего удэгейского поселка под названием Сои. Удивительной красоты, покрытые вечной зеленью сопки, окружают поселок. Именно там он родился, на берегу веселой и рыбной реки Хор, там, на этих берегах и состарился. За всю свою жизнь только один раз покидал родные места, когда надо было воевать, отстреливать, как диких зверей проклятых фашистов, делая засечки на прикладе, как велел командир. Но когда командир, пересчитав зарубки, почему-то засомневался, Лукса спорить не стал, просто на одну зарубку он теперь определял двоих отстрелянных. Пришлось, тогда ещё молодому охотнику,

«поработать» на благо Родины. Когда его, после войны пытались расспросить, узнать, что там было, как он воевал, он лишь отмахивался и говорил, стараясь правильно произносить слова:

– Зачем тебе спрашиваешь? Работал мало-мало. Снайпером работал. Винтовка добрый был, хотел домой привезти, командир не разрешил.

В полотняном мешочке у Луксы хранились звонкие медали и увесистые ордена. Он их берег, но на грудь не вывешивал, и никому не показывал, кроме своей жены.

Фамилию свою, Кялундзюга, Лукса носил с гордостью. Все, кто родился и жил в Соях, носили эту фамилию, и очень гордились ей. Кто жил ниже по течению, Гвасюгинские, Катенские, Кафенские, тоже были удэгейцами, но род был другой, оттого и фамилия другая, – Кимонко. Они тоже очень гордились своей фамилией. Так и жили эти гордые люди на берегах великой дальневосточной реки под названием Хор. Жили дружно, не торопко, не хлопотно, хозяйство не водили, чтобы не привязывать себя к какому-то определенному месту, любили кочевать с косы на косу. Где больше рыбы, там и они, где легче добыть зверя, там снова они.

Зимой удэгейцы охотились на пушнину, мастерски добывали соболя, белку, промышляли кабана, да сохатого. Никогда не отказывались от возможности добыть медведя. Охотники жили в таежных пристанищах, зимовьях, чумах, палатках, вместе со своими женами, а нередко забирали с собой на зимовку и стариков, – кто их будет кормить в деревне, а здесь, в тайге, этой проблемы и не стояло даже. Ребятишек, школьников, на зиму отдавали в интернат, там было тепло и сытно, за них можно было и не беспокоиться, а стариков в интернат не сдашь, надо брать с собой, в тайгу.

Лукса снова и снова осматривал магазинные полки, любуясь чистой, блестящей посудой, опять подносил чайник к уху и брякал по доньшку костяшками пальцев. Звук был глухой. Продавщица поджимала губы, складывала полные руки на груди:

– Будете брать? Что по нему брякать, это же не барабан.

– Плохой ево, однако. Не звенит.

Продавщица бесцеремонно забрала чайник и уложила его на место, между большой кастрюлей и тазиком, повернув так, чтобы было видно этикетку с ценой. Лукса хотел было обидеться, потом, возмутиться на продавщицу, но передумал. Отступил на шаг от прилавка и повторил:

– Плохой, однако.

У Луксы был чайник, как у любого уважающего себя охотника. О! Какой у него был чайник! Если бы его только могла увидеть эта сердитая продавщица. То был настоящий чайник, отлитый из чистой меди. Он передавался из поколения в поколение, а был куплен дальним, дальним прадедушкой за целую кучу собольих шкур. Вот то был чайник! Если костяшками пальцев ударить в доньшко, приятный звон заполнял не только само зимовье, но и вырывался наружу, будил собак и заставлял удивленно замолкнуть всех соек и кедровок в округе. А как быстро он кипятил воду, хоть на костре, хоть на печурке. И горячим, почти как кипяток, хранил чай до самого утра. А какой вкусный чай настаивался в том чайнике... Сколько лет служил тот чайник, сколько лет. Он бы и сейчас служил, но прошлой зимой бабушка Уля, жена Луксы, пошла к проруби по воду, и забыла взять кружку, которой обычно начерпывали чайник. Возвращаться было неохота, и бабушка протиснула в обмерзшую прорубь сам чайник, чтобы зачерпнуть воды. Течение подхватило добычу, а старческие пальцы не смогли удержать дорогой чайник.

Долго Лукса сокрушался по поводу утери столь нужной в хозяйстве вещи, долго ругал старую жену. Весной обшарил все потаенные места речной протоки, даже ночью, запалив яркий костер на металлической сетке, подвешенной на носу лодки, все плавал, плавал, прощупывал шестом все коряги и омота. Так и не нашел свой чайник.

Весь остаток зимы, а теперь уже и весну, и начало лета, варили чай в алюминиевой кастрюле. Какой это чай? Разве может удэгеец пить такой чай?

- Давай, однако. Покупай его буду. Плохой покупай буду.
- То буду, то не буду.

Лукса извлек из кармана залоснившийся кисет и вытянул из него деньги. Продавщица, подобрев глазами, не сдержалась от колкости:

- Если, «его плохой», зачем покупать?

Лукса искренне удивился вопросу:

- Как зачем? Чайник нету, совсем его помирать надо. Как могу без чайника жить?

Продавщица, заполучив деньги, в разговор больше не вступала, выдала товар, прихлопнула на прилавок сдачу и легко забыла о дотошном покупателе.

Лодка, загруженная нехитрым скарбом, одиноко маячила на деревенской пристани. В носу лодки нахохлившись, сидела, в смиренном ожидании, бабушка Уля. Она редко пускала голубоватый дымок из своей старинной трубки. Трубка была так стара, что даже помнила залиvistый смех своей хозяйки, помнила ее острые, ровные зубы. Будучи молодой, Уля каждый день чистила зубы корешком элеутерококка. Этому ее научила мать, обещая, что зубы сохранятся на всю жизнь, что до самой старости можно будет кушать вкусное сырое мясо, – строга-нину. Но, теперь-то понятно, что мать обманула, уже давно во рту нет ни одного зуба, а залиvistый смех куда-то убежал ещё раньше, когда умер ее первенец.

Собаки, коротко привязанные здесь же, завидев приближающегося хозяина, встряхнули шубы и потягивались, едва заметно улыбались родному человеку.

Спрятав чайник поглубже в бутор, Лукса, на родном языке поинтересовался, где народ. Бабушка ответила, что все уехали. Лукса залез пятерней в седую шевелюру и долго шкрябал там ногтями, о чем-то размышлял.

Родичи, на трех лодках, еще вчера ругались между собой и поторапливали Луксу, чтобы уехать всем вместе, но Лукса не торопился и не мог понять, зачем торопятся другие люди, – не все ли равно, где жить? Хорошо жить там, где есть еда, а здесь еды много, рядом с пристанью весь день работает столовая, там вкусно пахнет.

Солнышко пригрело, и на морщинистом лбу охотника заблестели мелкие бисеринки пота. В последние годы Лукса редко потел, старым стал, хоть ещё не бросил охоту. Стащив с себя энцефалитку, ей же утер лоб, бросил на сидушку. Остался в легкой, застиранной до мелких дырочек рубашке. Еще раз оглядел лодку, что-то гортанное сказал собакам, и они радостно запрыгнули, сели рядышком и уставились вдаль, ждали скорости, встречного ветра. Собаки приучены и в лодке ведут себя смирно, на борта не лезут, знают, что можно получить шестом по хребту.

Жиденькая, в три волосинки, удэгейская бороденка топорщилась в разные стороны, узкие до предела глаза, просто одни щелочки, не хотели расставаться с берегом, снова и снова ловили взглядом людное крыльцо столовой. Опять что-то сказал и бабушка шевельнулась, тяжело оттолкнула лодку от берега, в одно касание вывела ее на достаточную глубину и без труда остановила там, оперевшись шестом в покатое, галечное дно. Лукса ещё раз глянул на яркое солнце, спустил мотор в воду.

Река была живая, она лениво тянула прозрачные нити струй, скручивая их за кормой лодки в крепкий жгут течения. Едва заметной волной прикасалась к берегу, ластилась, трогала береговую гальку, но с места не сдвигала ни одного камешка. Тихое время лениво подвигалось к полудню. Неспешно подвигалось.

Мотор у Луксы был старый, очень старый. В деревне таких моторов уже и не осталось, только у него. Зато и названия такого тоже ни у кого не было, мотор назывался «Москва». И не просто «Москва», а на конце ещё стояла большая буква М. Лукса думал, что это специально так сделали, чтобы не забывать, что тот большой и славный город называется с большой буквы М. Когда возвращался с войны, он был в этом городе, видел какие бывают огромные и красивые

дома. В других городах тоже есть много больших домов, но они не такие, как в Москве. В Москве выше и красивее.

Стартера на моторе давно уже не было. Чтобы завести мотор, нужно было обмотать вокруг маховика крепкий, сыромятный ремешок, упереться коленом в сидушку и резко дернуть. Маховик раскручивался и мотор заводился. Но было это не так просто. На самом деле, чтобы его завести, нужно было дернуть так, прилагая немалые усилия, раз десять, а то и ещё больше. Для удобства Лукса привязал на самый конец ремешка крепкую палочку. Брался за эту палочку и дергал. Снова накручивал ремешок на маховик и снова дергал. Опять накручивал, и опять дергал. Мотор хлюпал своим загадочным, неведомым нутром, но заводиться не хотел.

– Совсем его старый стал. Больной, – ворчал охотник и накручивал ремешок уже в десятый, двадцатый раз. Дыхание сбилось, руки от усталости повисли плетьюми и мелко дрожали. Все люди уже давно ездили на «Ветерках», и даже на «Вихрях», а Лукса все мучился и мучился со своей «Москвой».

На лбу снова выступили капельки, рубаша распоясалась. Силы, чтобы дернуть посильнее, уже не хватало. Устал. И, вдруг: о, чудо! Мотор взревел! Загудел громко, на полный газ! Вот, только проблема, ремешок застрял в прорези маховика и теперь широко и резко крутился, все сильнее, все резче раскручивая деревяшку, привязанную на конец ремешка. Лукса выставил руки, чтобы поймать ремешок, но тот так резко хлестал, что старик согнулся пополам от нестерпимой боли, невольно подставил под расправу худую, округлую спину. Ремешок принялся за дело! Он хлестал по спине так резко и остервенело, что уже на глазах спина начала мокнуть от сукровицы, а рубаша расползалась на стороны. А мотор все кричал и кричал, все громче, громче. Лукса опустил голову, прикрыл ее руками и молча, стоически принимал побои.

Наконец, сообразив, что пощады не будет, что надо как-то самому выбираться из этой ситуации, пригнулся еще ниже и отпрянул от мотора. А тот продолжал кричать и раскручивать прозрачным пропеллером страшную нагайку. Лукса, отстранившись, выбравшись из-под ударов, схватил шест, размахнулся и врезал, что было силы, прямо по голове любимому мотору.

От такого ловкого и сильного удара шест переломился надвое, а мотор утробно икнул, маховик чуть наклонился набок и весь мотор сильно, сильно затрясло, словно в лихорадке. Он еще несколько раз со скрежетом провернулся и замолчал. Ремешок безвольно повис. Вид у мотора был такой, как у пакостного щенка, застигнутого на месте преступления. Это ещё больше взбесило старого охотника и он, снова и снова охаживал мотор обломком шеста, приговаривая при этом:

– Вот! Больно!?! Больно тебе!?! А мне, думаешь, не больно было?

Отбросив обломок шеста, сел на свое место, на законное место моториста. Сел и заплакал. Утирал рукавом слезы.

– А ещё Москва называешься, эх, ты... А дерешься как простая деревня.

На спине набухали рубцы, выступала скупая сукровица.

Бабушка Уля всю эту сцену наблюдала молча, равнодушно свесив едва тлеющую трубку на одну сторону старческих губ.

Ах, каким ловким и сильным охотником помнит она своего мужа! Каким сильным! Разве бы посмел какой-то мотор обидеть тогда его? Разве бы посмел... В те времена, когда Лукса ещё ходил пружинистой походкой, когда он легко, без промаха бил кету острогой на другой стороне протоки, метко кидая острогу, как копье, тогда никто не смел его обидеть. Ни кто! Каждый день Лукса кормил тогда свою молодую жену вкусной талой, а зимой не жалел строганины. Каким ловким и сильным он был охотником! Он никогда не тратил порох на кабана. Если собаки останавливали кабана, он бил его или пальмой, или вообще, ножом. Подкрадывался, прыгал тому на спину и одним ударом вгонял нож под лопатку. Кабан ещё нес смелого охотника по густым зарослям, стараясь стряхнуть, сдернуть его со спины, но скоро понимал,

что сердце распластано на две половины и валился бездвижным. Вот, каким ловким был охотник в молодости. Как быстро проходит жизнь, как быстро.

Лукса, уже успокоившись, вдруг снова кривил губы и начинал плакать. Но эти слезы были уже не от боли, он плакал от обиды, от какой-то слабости, жалости к себе, так неожиданно накатившей. Он отвернулся от жены и тихонько вздрагивал плечами, утирался рукавом и снова вздрагивал. С Москвой больше не разговаривал, да и что с ним разговаривать, понятно же, что он убил его своим шестом. Только и прошептал тихонько, для себя:

– Помирай его, однако.

Мотор молчал, уныло и виновато поглядывая на хозяина обшарпанной от времени этикеткой, прикрепленной на самое видное место на четыре заклепки.

Успокоившись окончательно, Лукса встал, искоса глянул на светило, одиноко катившееся по пустому небу, подпернул сползающие штаны, на русском языке обратился к бабке:

– Чего тебе сиди? Толкайся надо, пешком домой поедем.

Бабка еще помедлила, стащила с себя какую-то лопатину, чтобы не мешала работать, налегла на шест. Она понимала, что за всю дорогу Лукса за шест возьмется лишь на самых крутых перекатах, да и на том спасибо, не мужнее это дело, работать шестом, когда жена в лодке. Хорошо править лодкой, когда плывешь по течению, но в этот раз толкать лодку надо против быстрого, прозрачного течения. Дней за пять, за семь доедут. Если бы жили в Гвасюгах, тогда толкать лодку было бы ближе на целых тридцать километров, но Лукса не хотел уезжать из старой, умирающей деревни Сои. Гвасюги хорошая деревня, там даже есть сельский совет, куда можно придти и пожаловаться на отсутствие дров, или на что-то другое. В Гвасюгах и магазин есть, и пекарня, где пекут очень вкусный и мягкий хлеб. Да что там магазин, там даже памятник есть. Настоящий памятник удэгейскому писателю Джанси Кимонко. Он написал книгу о жизни удэгейцев. Книга называется «Там, где бежит Сукпай». Правда, старые удэгейцы эту книгу не читали, они не умеют читать. Но в жизни это не главное, куда важнее уметь правильно управляться с шестом. Бабушка Уля уверенно развернула лодку против течения и спокойно повела ее вдоль берега, навстречу звонким струям воды, навстречу легкому, прохладному ветерку. Толкаться шестом надо спокойно, не надо торопиться, надо отдыхать, пока лодка скользит вперед. А куда им торопиться, на любой косе, возле любого костра они как дома. Дома и есть. Они же дети природы, родные дети, и природу-матушку очень любят. Любят и берегут.

Лукса смиренно сидел на месте моториста, наблюдал, как жена ведет лодку. – Совсем его старый стала, слабо толкается шестом. А какой она была сильной и статной в молодости! Как красиво улыбалась, показывая белые зубы, заманивала за собой, увлекала в ближние кусты, где они так сладко занимались любовью. Как быстро летит время. Лукса встал, вытянул из-под вещей запасной шест, придиричиво оглядел его, хотел было помочь жене, толкнуть пару раз лодку против течения, но раздумал. Положил шест вдоль борта, сел на свое место, смотрел в берег, смотрел на исчезающие за деревьями дома, на остающуюся деревню. Остающаяся деревня снова навевала грусть.

– Если бы переехали в Гвасюги, толкаться было бы ближе. В Гвасюгах советская власть построила большие, красивые дома и заселила туда удэгейцев. Есть там квартира, которую выделили Луксе с его женой. Квартира стоит пустая, а Валя Тунсяновна, – председатель сельсовета, ругает его, заставляет переселяться. Валя хорошая, она тоже носит фамилию Кялундзюга. Хорошая. Очень хорошая.

Осенец

Никола появился в деревне года через два после войны. Уже все мужики, что живыми выбрались из той бойни, вернулись. И те, что «без вести» пропадали, даже те пришли. А двое вернулись после похоронок. Радость, конечно, но у Ивана жена уже с конюхом одноногим жить

стала, даже привыкла к нему, к конюху-то. И то, что он на одной ноге прыгает, тоже привыкла, даже не замечала. Так что ни конюх, ни жена Иванова, вроде как не обрадовались. Она ничего и не нашла сказать, когда в ограде Ивана встретила, кроме как: «Вот! Наврали, значит, что убили-то? Наврали. Бумагу прислали» и пошла в огуречник, за батунном. Уж оттуда, из-за прясла, протянула:

– Разбирайтесь теперь, кто тут жить останется. А то и оба оставайтесь....

На крыльцо уже выбирался, без костыля, конюх. Он неловко придерживался за косяки и имел какой-то жалкий вид. Иван посмотрел ему в глаза, вздохнул устало, поправил лямку вещмешка, набитого немецкими подарками, и шагнул вон с подворья.

Жить наладился в крайнем доме, с видом на реку, на паром. Правда, домом ту избышку можно было назвать с большим натягом, уже несколько лет она пустовала и потихоньку разваливалась, но руки у Ивана были, да и ноги две, решил, что все изладит до зимы. И колотился, брэнчал топором целыми днями.

Вот тогда и появился Никола. Да. Откуда взялся? Порядку-то еще было маловато, не шутейную войну пережили, вот и бродили по земле босоногие, да ремкастые пацаны, искали пропитание, одежду какую. Где просто так выпросят, где помогут в чем, отработают. Никола появился невесть откуда. Иван даже приподнялся на цыпочки и глянул на паром, – нет, стоит привязанный, уж два дня стоит. Вышел к пацану. Тот отстранился, чтобы не сцапал дядька, но не убежал, просто насторожился.

– Привет, хлопец. Ты откуда взялся? Паром не работает. А?

Хлопец молчал. Только улыбался очень открыто и приветливо, даже, будто бы, радостно улыбался. Волосы, белесые и прямые, свисали на уши, на плечи и делали вид несколько необычный, несколько диковатый, запущенный.

– Чего молчишь? Как звать-то, говорю? – Иван опустился на кособокую, вросшую в землю скамейку. Достал кисет. – Или забыл, как тебя зовут?

Паренёк уселся прямо на землю, с любопытством заглядывал в лицо Ивану, участливо наблюдал, как тот ловко сворачивает самокрутку, не просыпав ни одной крошки табака.

– Ну, чего молчишь? Немтырь, что ли? – И тут Иван понял, что паренек его или не слышит, или не понимает. Он разинул рот, в котором клубился белый, махорочный дым, и так застыл. Когда первое изумление прошло, он потыкал себя в ухо пальцем и снова спросил, только теперь уж громко, переходя на крик: – Не слышишь, что ли?!

Паренек чуть отодвинулся, уперевшись руками в землю. Улыбка с лица слетела, а сомкнутые губы приняли форму скобочки, глаза повлажнели. Стало ясно, что он сейчас заплачет, а может быть и убежит, подобрался как-то, сжался весь.

Иван понял свою оплошность, легонько махнул рукой и курил молча. Мальчонка успокоился и пересыпал дорожную пыль из одной ладошки в другую, потом обратно. Наблюдал за пыльным облачком. Не плакал.

Иван поднялся и поманил за собой, вошел в калитку. Парень тоже вошел, отряхивая пыль с ладошек о штаны, но калитку не выпускал, держал приоткрытой, следил за дядькой. Из каких-то запасов Иван извлек банку тушенки и топором ловко вырезал верхнюю крышку. От вида белого жира, парень как-то расслабился, будто даже покачнулся, калитка выскользнула из руки и захлопнулась, но он даже не оглянулся. Он глаз не мог оторвать от банки и появившегося откуда-то куска черного хлеба.

Прямо на крыльчке банка тушенки и кусок хлеба очень быстро исчезли, спрятались в животе у паренька. Он лениво, даже болезненно откинулся, навалился на дверной косяк и прикрыл глаза.

Только на третий день Иван осторожно допытался, как паренька зовут. Он и правда, был каким-то ущербным, и, не смотря на свои десять, а может и двенадцать лет, не разговаривал. Твердил только: «Николя, Николя». Улыбается подкупающе и молчит, а потом вдруг, ни с того,

ни с сего: Николая, Николая. А то возьмет и заплачет беспричинно, так жалобно, так пронзительно, что все, кто рядом есть в это время, невольно глаза друг от друга отводят и слезу смахивают.

Так и стали звать его Николой. Жить он стал с Иваном, но полюбился всей деревне. Так уж было принято на Руси, еще издревле, любить и жалеть ущербных, сирых, да одиноких, считать их юродивыми, считать посланниками от Бога, чтобы защищать именно эту деревню. Многие верили, что это действительно так, что именно через Николу Бог узнает все деревенские беды и награждает людей радостями. А когда узнали, что Никола появился невесть откуда, – паром же в тот день не работал, и вовсе уверовали в его мессию, убедили и себя и соседей, что неспроста Никола появился, радость теперь грядет и благополучие.

Многие селяне считали за честь, если Никола забредет на их подворье, улыбнется хозяйке, погладит скотинку. Любили его. Бабы, как могли, обихаживали, старались подкормить. Но он особо-то не принимал излишние подаяния, Одежду имел только ту, что на нем, еду принимал лишь столько, сколько требовалось именно сейчас, чтобы утолить голод. Впрок ничего не брал. Мужики зазывали в баню, но Никола баню не жаловал, полоскался в заливчике, на мелководье. Хлопал ладошками по воде и громко гукал, чисто как малый ребенок.

Иван домишко подремонтировал, печку новую сложил, хоть и со старого кирпича, но теплую и требующую мало дров, экономную, насмотрелся там, в Германиях-то. Никола к нему прикипел, как к родному, без улыбки и не взглянет. Кажется, умел бы говорить, столько бы порассказал... А то на него что-то найдет, может какие воспоминания, может еще что, прильнет, прильнет и ласки просит, чисто котенок, или щенок малый. Иван обнимет, по голове гладит, гладит, а тот, аж дышать боится, замрет весь, только мелкая, мелкая дрожь по телу. Что ему вспоминается, что чудится, что он пережил в той проклятой войне, где порастерял родных своих, – одному Богу ведомо.

Хорошо жили Иван с Николой, душа в душу, да не долго. Говорят же: похоронка зря не приходит, разве что чуть опередит, но не ошибается. Через год Иван помер. Сильно от ран страдал, все осколки вылазили, выходили из него. Вот он и не вытерпел, помер.

Остался Никола один. Каждый день ходил на могилку, игрался там, а бывало, и заснет рядом. Обнимет могилку и спит с благостной улыбкой на лице.

Друг появился у Николы. Звать Витька. Он жил неподалеку, с матерью, не по возрасту состарившейся, иссохшей и молчаливой. Витька, на вид был чуть старше Николы, но ростом пониже, приземистее. Любил поговорить, рассказать то, что уже все знали и не один раз слышали. По этой причине и отмахивались от Витьки. А здесь, в лице друга и приятеля Николы, Витька нашел неоценимого слушателя. Хоть десять раз рассказывай ему одну и ту же историю, он увлеченно слушает, боясь пропустить хоть одно слово, широко улыбается, заглядывает прямо в рот Витьке, словно там и спрятан весь смысл рассказа.

Витька научил Николу рыбалить. Сидеть с удочкой на берегу, неподалеку от парома и терпеливо смотреть на поплавок, ждать. Когда же ожидание вознаграждалось малюсеньким окушком, величиной в палец, Никола приходил в неопиcуемый восторг, прыгал вокруг этого окушка, размахивал руками и смачно причмокивал губами. Радовался. Радоваться он умел, не смущался выказывать это чувство.

Витька же впервые прокатил его на лодке, взятой у паромщика. Никола испугался воды и долго, горько плакал. Уже сидя на берегу, время от времени показывал на реку и снова начинал кривить губы, складывать их скобочкой.

– Ничего, ничего, мы из тебя сделаем настоящего мужика! Не будешь нюни распускать. Жить на берегу, да воды бояться, – это не дело!

Витька снова брал лодку и усаживал на заднюю лавочку Николу. Тот не сопротивлялся, будто и сам хотел сделать из себя настоящего мужика. Но когда берег оставался в стороне,

когда весла в Витькиных руках начинали энергично загребать темную от глубины воду, Никола слабел всем телом, распускался весь, принимался плакать. И так каждый раз. Витька злился, даже кричал на приятеля, но от крика тот вообще заходилась и потом долго не мог успокоиться, прийти в себя.

Однако Витька свою затею не оставлял и мучил ущербного товарища почти каждый день, до самых холодов, до осени.

Зимы в тех местах всегда многоснежные. Никола где-то взял большую лопату и ходил по всей деревне, чистил дорожки. При этом не спрашивал, нужно ли почистить, просто видел, что здесь живут люди и чистил. Закончив работу возле одного дома, переходил к следующему. Так трудился весь день, всю зиму. И улыбался.

Люди, кто чем мог, благодарили Николу. Благодарили даже не за работу, а просто за то, что он был. Тем он и питался, тем и жил.

В тот год зима выдалась холодная. Обычно река долго шугует, мается, накрепко встает только ближе к рождеству, а в этот год уже осенью стало набрасывать крепкие забереги. Люди удивлялись, выгоняя скотину на водопой, что приходится с собой тащить топор, – уже пяткой не продолбить прозрачный ледок. Морозы крепили и крепили, а снегу выпало чуть, завалинки нечем прибростить. И так морозило до самого солнцеворота. Только потом повалил снег. Повалил огромными хлопьями и без перерыва, словно восполняя упущенное время и пространство. Оттепело. Да уж поздно, и земля промерзла, что могилу невозможно выдолбить, и на реке такой лед naros, только удивляться, ни сеть занырнуть, ни крючки на налима поставить. Народ береговой на всю зиму без рыбы.

В такие морозные годы река еще с осени начинает выстилать свое русло льдом. А потом, всю зиму наращивает, намораживает толщину этого донного льда. Называют этот лед «осенец», видимо по той причине, что зарождается он с самой осени. Лед этот, – осенец, крепко прихватывается за донные камни, коряги, топляки, нарастает на ил и песок, удерживается там всю зиму, крепко удерживается.

Весной, при начавшемся ледоходе, река начинает колобродить, буйствовать, разламывать и крошить ледовый панцирь. Лед в несколько слоев лезет друг на друга, крепко царапает берега, а на мелководьях сдирает и осенец, передвигая, перетаскивая огромные валуны и более мелкие речные камни. В более глубоких местах осенец остается, удерживается за дно и отходит, всплывает уже после ледохода, когда вода становится на несколько градусов теплее. Только уходит осенец без всякой помпы, не то, что основной ледоход. Дождется своего времени, оторвется от дна, всплывет, раскрошится и тихо исчезнет, уплывет по течению. Его и мало кто видел, мало, кто знает об этом, мало, кто замечает.

Ещё зимой Витька отремонтировал две мордушки и с нетерпением ждал открытой воды, чтобы испытать их работу в заливчике. Наскучался по рыбе. Река, как обычно, прошла напористо и уверенно. Ледоход шумел три дня, а потом все стихло и на открытой воде время от времени лениво проплывали отдельные белеющие плешины. На берегах лежали толстые, ноздреватые льдины и неспешно истекали чистыми, прозрачными каплями, впитывали в себя благодатное весеннее солнышко.

Еще через два дня и отдельные льдины перестали проплывать, просто река была полной, многоводной и казалась неспешной. Воды было столько много, что казалось, вот ещё чуть-чуть, и она хлынет из русла, разольется за предел берега, затопит и деревню и ближние кусты, устремится шумными, торопливыми потоками в леса.

Но такого пока не случалось, берега были полны, но реку держали уверенно. Витька бродил между вытолкнутых льдин и тоскливо глядел на большую, мутную воду, сплевывал на

землю тонкой струйкой сквозь зубы. Никола тоже был здесь, сидел на бревне и, улыбаясь, следил за Витькой. Учился цвиркать слюной, как это ловко делал дружок, но ничего не получалось, слюна вытекала на бороду и Никола размазывал ее рукавом. Витька был сегодня у паромщика, просил лодку, чтобы поставить мордушки, но тот отказал, сославшись на то, что надо бы после зимы лодку просмолить. Да и вода, больно уж большая, опасная вода.

Прошло еще несколько дней. Лодку просмолили, утащили на воду и испытали, – нигде не подтекала. Красота! Вода все еще была большая, тащила разный мусор, ветки, коряги, но уже пореже, очищалась река. Солнышко припекало невероятно, насквозь прожигая заплатавшую Николину шинель, с обрезанным подолом, доставшуюся ему от Ивана. Но от воды тянуло сыростью и холодом. В береговых тальниках шныряли туда, сюда мелкие птахи, радовались весне, радовались жизни и теплу. Никола наблюдал за ними с детским восторгом, широко растворив глаза и вытягивая улыбку от уха до уха.

– Все готово! Залезай! – Витька держал весла, а в лодке топорились мордушки. – Поедем рыбу ловить. Никола перестал улыбаться и, как-то сник, потух. Глаза, правда, так и остались распахнутыми, и на погрузневшем лице казались неестественно большими, просто огромными. Он, повинаясь воле друга, медленно и неохотно залез в лодку, уселся на лавочку, ухватился руками за борта и замер. Голову опустил низко, чтобы не смотреть на мутную воду.

Витька накинуд весла на уключины и, оттолкнувшись, запрыгнул:

– Ни боись, Никола, ща рыбки хапнем, утолим зимний голод. – Стал сильно, прогибаясь в спине, загребать веслами, все дальше и дальше отходя от берега, правя в сторону залива.

Уже залив был близок. Еще несколько гребков веслами, и лодка бы сошла с течения, занырнула бы в залив, в стоячую, спокойную воду, куда и стремился Витька, но...

Какие-то мелкие пузырьки вдруг окружили лодку, да так плотно, плотно пузырились, здесь же стали всплывать и более крупные пузыри. Витька перестал грести и наблюдал за водой с открытым ртом, а вода, словно кипела, выталкивая на поверхность все больше и больше воздуха. В какой-то момент кипение оборвалось, но тут же началось новое движение: течение ринулось вспять, потом в разные стороны. Лодку развернуло и закрутило так стремительно, что Витька бросил весла и ухватился за борта. Неведомый страх сковал обоих, а лодку все крутило, крутило. И вот вода стала стремительно белеть, белеть... Это со дна поднималось огромное поле осенца, того самого льда, который намерзал всю зиму на дне реки и теперь, дождавшись своего часа, всплывал, освобождая, очищая русло.

Поднимаясь, лед крошился, ломался, всплывал стремительно, где-то плашмя, скатывая с себя воду, где-то льдина выныривала боком, высоко и стремительно, взблеснув на весеннем солнце, под лодкой льдина поднималась торцом, увлекая за собой вмержшие камни и коряги, поднимая ил и песок до самой поверхности.

Удар в дно был такой силы, что лодка отлетела, как щепка, а весла отпрянули в разные стороны. Вынырнувшая льдина высоко задралась и здесь же, переломившись надвое, рухнула в воду, окатив волной барахтающегося среди мелких льдин Витьку. Он только ухал, ухал, пытаясь найти опору, но кругом был лишь битый лед, да речной, весенний мусор. В стороне, как показалось, невероятно далеко, торчал из воды, ухватившись за корягу, Никола. Витька обрадовался, кажется, успел обрадоваться, что Николе подвернулась коряга. Намокшая одежда тянула вниз, на дно. Витька, продолжая ухать, отвернулся от Николы и сильно замолотил руками, стал разгонять вокруг себя ледяное крошево и какими-то толчками продвигаться в сторону берега.

Каким чудом ему удалось выбраться, он и сам не понимал. И не помнил даже, видимо, так было суждено. Судьба такая, вот и выбрался. Выбрался.

До самой темноты народ топтался на берегу, кто-то пытался кричать, но крик срывался, переходил в плач. Так и ревели, голосили бабы, мужики хмурились, о чем-то тихонько переговаривались. Деревня переживала горе.

Кажется, этой ночью никто не спал. Утром, чуть свет, снова вся деревня вышла на берег. Почти сразу, замахали руками, закричали, закричали... Николу вынесло на первый же пережат. Он так и лежал, крепко накрепко уцепившись за корягу. Коряга оказалась топляком, который поднялся со дна вместе со льдом. Когда лед раскрошился и выпустил корягу на волю, она снова ушла на дно, утащив за собой и бедного Николу.

Витька сильно застудился и мать чем-то мазала ему спину, давала пойло. Плакала. Постоянно плакала. Витька молчал. Он первые дни суетился, бегал по деревне, пытался поговорить с кем-то, объяснить, что случилось, но его ни кто не слушал, все смотрели злобно, враждебно. Кто-то не понимал, о чем он говорит, а кому удалось хоть раз в жизни увидеть всплытие осеннего льда, не понимали, что там страшного и опасного. Ведь видели они это явление с берега, и даже представить себе не могли, как это выглядит, если находиться там, на утлой лодочке с веслами в расшатанных, расхлябанных уключинах.

На похоронах были все, от мала до велика. Витьки сторонились. Бабы голосили. Когда он хотел подойти к могилке, чтобы хоть заглянуть на опущенный гроб, люди сомкнулись и не пустили. Он снова отошел в сторону, стоял один. Когда стали расходиться, комок глины прилетел прямо в грудь и, рассыпавшись от удара, брызнул во все стороны, запорошил лицо. Отвернулся, ждал, когда все уйдут. Хотелось подойти к могилке. Но так и не дождался, бабы, перебивая друг друга, выпроводили, вытолкали. И шли сзади, провожая до самого дома.

Мать, совсем согнулась, вздрагивала плечами, на Витьку не глядела. Он хрипел грудью, подступила простуда, трудно складывал обметавшие губы. Посидел у печки и вышел. Где-то выли бабы, должно быть на поминках.

Витька снял со стены коровью лычку и, склонившись, вошел в сарай. Посмотрел по верхам, определяя место, куда привязать. Веревка была из пеньки, – колючая. Он потрогал ее, совсем по-другому потрогал, чем прежде, погладил даже. Действительно колючая. Витька приложил веревку к шее. – Колючая.

В голове роились беспорядочные мысли:

– Мать меня не снимет, а больше никто, ни один человек из всей деревни не подойдет. Буду висеть тут, весь обоссанный. Говорят же, что висельники обязательно мочатся... Лучше бы утонул. И ни каких проблем. Похоронили бы с почестями, с любовью.

Бросил веревку на загородку.

– Охо-хо... – Тяжело вздохнул, прислонился к стене. Хотелось плакать. Так хотелось плакать.

Прошли, протащились какие-то дни.

У калитки свистели, Витька вышел. Парни глядели зло и сразу сбили с ног, стали пинать, старались угодить в голову.

– Уехать бы тебе куда. – Говорила мать, делая примочки. Сама трудно дышала, болела последнее время.

– Куда? Кто меня ждет?

Через день, когда Витькины синяки только расцвели, а ребра несносно ныли, мать померла. Переделась во все чистое, легла на лавку, руки сложила, и померла.

Витька сидел рядом, промаргивал одним глазом, потому, как второй был заплывший крепко-накрепко, и не мог придумать, что же теперь делать. Уже вечером, в потемках, прокрался через огороды к своему дружку, с которым все детство провели вместе. Вызвал его на ограду и тихонько, по заговорщицки:

– Матушка померла. Помоги похоронить.

Генка молчал. Насупился, в глаза не смотрел, будто чужой.

– А? Помоги. Куда мне теперь?

Из сеней вышла мать и, отстранив, заслонив собой Генку, как-то нараспев и излишне громко, чтобы и на улице мог услышать случайный прохожий, протянула:

– А ну-у, иди отседова-а!

И стала наступать, широко поводя бедрами. Витька шагнул назад, еще раз глянул одним глазом на Генку и молча перемахнул через прясло. Домой возвращался совсем опустошенный, потерянный, не понимая, что делать. Из темноты кто-то окликнул. Витька приблизился, вспоминая, чей это огород. В тени стайки, оперевшись на костыль, стоял одноногий конюх. Указав остатком сигарки на Генкин дом, где мать еще отчитывала молчащего сына, спросил:

– Чего там? Чего шумят-то?

Витька махнул рукой и двинулся, было, дальше, но снова повернулся, возможно почувствовал участие:

– Матушка померла... – Шмыгнул распухшим носом.

– Валя?... Ох, Господи. Отмучилась, значит. – Шагнул к Витьке. Ухватился за плечо. – Я помогу, Витя. Помогу я. Домовину сделаю, ох, Господи, Твоя воля.

Витька пошагал домой, сквозь звон в голове соображая: какая от тебя подмога.

С самого утра, прихватив лопату, Витька ушагал на кладбище. Выбрал место, ближе к самому краю и начал копать. Земля быстро кончилась, началась крепкая, сухая глина. Лопата скрипела и не шла в глину, приходилось долбить, долбить, долбить. Когда могила уже скрыла Витькину голову, на краю возник конюх, с неизменной сигаркой в губах. Он даже не поздоровался, стоял и молчал. Скорбно молчал.

Витька перестал долбить, привалился к стенке и смотрел на одноногого. Почему-то смотрел внимательно, словно впервые видел человека. Увидел его нос, с приплюснутой пипкой, увидел брови, вывернутые, как бы, наизнанку, увидел уши, большие и плотно прижатые, глаза, чуть раскосые, все, как у него, у Витьки. А руки? Широкие, рабочие ладони, короткие, узловатые пальцы с обломанными ногтями. Витька посмотрел на свои руки, он их сложил на животе, всегда так складывал в минуты отдыха. И конюх точно так держал свои руки. – Черт возьми, почему мать ничего не сказала? Было бы здорово иметь отца. Было бы здорово.

Назавтра они, вдвоем, привезли на тачке гроб и неловко, боком, спустили в могилу. Витька спрыгивал и снова долбил глину, чтобы поставить домовину ровно. Наконец, все было сделано.

Конюх достал откуда-то четвертинку самогона и они помянули покойницу.

– Бригадир велел тебе в тайгу ехать, в бригаду. Вот подводы пойдут, и ты поезжай.

Витька молчал, только кивал головой. Через три дня он уехал.

Бригада, которая занималась заготовкой леса, встретила его без восторга. Кто-то плюнул в его сторону, кто-то грязно выругался.

Мужики валили строевые сосны и кряжевали их на бревна определенной длины. Витьке поручили обрубать сучья. В обеденный перерыв все собирались у таборного костра, получали чашку каши, отдыхали. Витька чувствовал, что он лишний, ненужный здесь. А когда, по неосторожности, кто-то уже второй раз перевернул чашку с кашей, он не стал подходить к общему костру. Совсем в стороне разводил свой костерок и варил там чай, приспособив под котелок консервную банку.

Однажды на вырубку вышел лесной человек, охотник. Какое-то время он всматривался в людей, обедающих у большого костра, потом отвернул и приблизился к костерку Виктора. Тот обрадовался, предложил таежнику чай.

Долго сидели на чурбаках, подкидывали в костерок разный лесной мусор, разговаривали. Через несколько дней бородатый лесовик снова появился. Он уговорил Витьку уйти с ним в тайгу.

– Работы там очень много, нужно строить зимовья. А навалится зимушка, станем охотиться. Вместе будем охотиться, промышлять.

Витька согласился. Он был рад, что хоть кому-то он понадобился.

Банальная история

Поле. Широкое поле. Или васильковое, или ромашковое. Дикое поле. Зелень, режущая глаза. Хочется бежать. Вот так бежать и бежать, ни на миг, ни на минуточку не останавливаться, бежать. Как легко, как свободно дышится. Наверное, если чуть оттолкнуться, то можно даже взлететь, раскинуть руки и скользить, скользить над полем. Потом все выше, выше, выше, чтобы не задеть вон те тальниковые заросли. А потом, когда совершенно перехватит дух, подняться и над самыми высокими березами.... И лететь, лететь.... Какое это счастье, и как его много!

Я бежала от самой околицы, бежала не останавливаясь, бежала, бежала, оттого и пришла на наше место первая. Первая, теперь жду. А он прячется, глупенький, он играет со мной, и прячется. Вот же он, вот, за толстой, щербатой берёзой, прячется и смеется.

Мы вместе. Мы близко. Мы рядом.

Он так смотрит.... Ах, как он смотрит, у него такие глаза. Я полностью отражаюсь в его глазах, полностью. И платье отражается, и колени. Как он смотрит.... Шелк платья так и течет, так и струится по телу, подчеркивая стройность, изысканную стройность моей фигуры. Легкий, вечерний ветерок чуть приподнимает воздушный подол, заглядывает на мои точеные колени. Атласные ленты ворота удивительно оттеняют черты моего лица. Он любит! Любуется мной....

Колени немного млеют и, едва заметно, дрожат. Ну, почему они так предательски дрожат.... Как хорошо отражаться в его глазах! Как сладко! Чтобы не упасть от слабости в коленках, приваливаюсь спиной к березе, она что-то шепчет, шепчет. Я не понимаю о чем она, да и не прислушиваюсь, продолжаю тонуть в его глазах.

Как сладко.... Сколько мы знакомы, он не произнес ещё и единого слова. Только смотрит на меня, смотрит. Нет, конечно, он говорит, что-то рассказывает, смеется, снова рассказывает, но я его не понимаю. Не хочу понимать, как эту березу с ее нравочениями, просто слушаю. И к чему эти разговоры! Пусть он целует меня.... Пусть целует.... Целует.

Он снова молчит. Молчит и смотрит. Не целует, а так хочется.... Так хочется.

Дома мама спрашивает прямо с порога. Она всегда так спрашивает, строго и односложно: «Ну?». Каждую ночь, каждую ночь, каждую ночь. Я вздрагиваю всем телом и замираю. Знаю, что будет это «ну?» и все же вздрагиваю так, что и в потемках видно, как я вздрагиваю. В потемках, потому, что летом мы никогда не зажигаем свет.

– Ну?!

– Что? Мама.... – я замираю среди горницы.

– Сама знаешь!

– Мама!

– Ну?!

– Ничего не было. Ничего....

– Глаза? – как она видит, в полной темноте, что я отвожу глаза. – Зачем ты туда бегаешь? Зачем? Добром это не кончится.

– Мама!

– Ну?!

Я совсем поворачиваюсь лицом к ее кровати, но смотреть в темноту так и не могу, снова отвожу глаза на темный проем окна. На улице такая темень, что в доме кажется светлее от белых стен.

- Он просто смотрел. Просто смотрел. И....
- Ну?
- И... трогал.
- ?!
- Рукав платья трогал, пальцами. Я чуть не умерла.
- Дура....
- Мама?

Я не стала рассказывать.... Не стала рассказывать, как он наклонился и случайно задел волосами мое лицо.... Я и, правда, чуть не умерла. Волосы пахнут. Пахнут им. И мягкие, словно шелк. Это.... Это чудо! Однажды я уже рассказывала, тогда мама ударила меня.... Ударил. Сказала, что это за мои фантазии. А если бы это было на самом деле, – убила бы.

- Ты снова все придумываешь.
- Мама!
- Сколько ты можешь туда бегать?! Это добром не кончится!

Мы замолкаем, но по шелесту сухих маминых губ я понимаю, что она читает молитву. Движение руки, которой она крестится, я скорее угадываю, чем вижу. Я раньше тоже крестилась, и знала молитвы, читала их. Читала, пока не поняла, что я такая. Когда поняла, бросила. И креститься не стала, больно уж крест получался какой-то кривой.

- Мама, ты же ничего не понимаешь, он обязательно, обязательно придет. Придет....
- Ты и, правда, дура? Кому ты нужна... такая?
- Мама! Он любит! Любит.... Я чувствую. Не может не любить....

Туго брякнул и загремел, загремел железный засов, зашипела, распахиваясь, растворяясь на всю свою ширь, толстая, обшарпанная дверь. Дверь уже давно, от времени просела и углом чертит по старому, обтрепанному линолеуму ровную дугу, часть круга. Не весь круг, а только его часть.

Маринка, здоровенная санитарка, ещё не войдя, ещё только распахнув дверь, громко, наверное, и в других палатах слышно, извещает:

- Фу-у! Навоняли-то! Нравится вам в говнище-то юзаться? Сволочи!

Отвязывает одну руку моей соседке, рывком переворачивает ее, так, что та падает в проход, на колени. Прихватывает только что освобожденную руку к моей кровати и начинает менять простынь. Этой же, грязной, скомканной как попало простыней, вытирает резиновый коврик и голую Валькину спину. Валька молчит, укрывшись распущенными волосами. Слышно как она скрипит зубами.

Маринка отвязывает руку от моей кровати, громко командует:

- Ложись!

Валька покорно залезает на кровать, ложится на спину, сама кладет руку на скобу и Маринка быстро и ловко привязывает ее. Валька смотрит в сторону, словно не хочет видеть санитарку. Я тоже не могу на нее смотреть.

Она перемещается к моей кровати и все повторяется. Мне стыдно....

- Ты ещё не обгадилась? Садись на утку, пока я здесь!

- Я не хочу.

– Тебя и не спрашивают, хочешь, не хочешь. Садись! – она ногой зацепляет под кроватью утку и выкатывает ее почти на середину прохода. Отвязывает мне одну руку, – садись!

Я слезаю с кровати и сажусь, отвернувшись к решетке.

Маринка поправляет постель, решая не менять простынь, просто делает вид, что поправляет. Уже через минуту поворачивается:

- Ну?! Навалила? Вставай!

Я встаю и вся сжимаюсь, зная, что сейчас Маринка ударит. Она, действительно, хлестко бьет меня по лицу своей огромной, как тарелка, ладонью:

– Ах, ты дрянь! А только уйду, – под себя?! Прибила бы! – снова замахивается, но уже не бьет. Я и от первого удара отлетела в сторону и упала на колени. Отлетела бы и дальше, да привязанная рука не пустила. Но чувство такое, что голова немного оторвалась, она, словно чужая, лежит на плече и кружится, кружится.

Маринка ловит меня за свободную руку и одним рывком подтягивает к скобе, привязывает. Когда она сердитая, она очень туго привязывает, так туго, что уже через полчаса пальцы начинают неметь. Чтобы кровь к пальцам поступала, приходится постоянно шевелить ими, сгибать, разгибать, сгибать, разгибать, сгибать, разгибать. Таковую зарядку надо делать целые сутки, ведь Маринка снова придет только завтра, в это же время. Только завтра.

Есть ещё одна процедура, входящая в обязательный распорядок дня, это кормежка. Она так и называется «кормежка». В коридоре начинается какое-то движение, какая-то возня и тетя Маша, такая же здоровенная, как и Маринка, а может быть они родственники, кричит:

– Кормежка! Кормежка! Кормежка!

Кричит три раза, будто мы глухие и с первого раза не услышим. Мы не глухие, мы сумасшедшие. Причем, мы здесь все буйные, потому и привязанные. Постоянно привязанные, режим содержания такой. Чего по три раза кричать. Кричи, не кричи, мы же не кинемся бежать навстречу, не побежим занимать очередь. А она кричит. Три раза кричит, на весь корпус.

Вот начинает возиться с задвижкой, клацает, клацает, брякает по окрашенной ещё до революции двери, ворчит чего-то себе под нос. Наконец, отворяет. Двери и стены, действительно, в последний раз красили очень давно. Краска на стенах полопалась, потрескалась и ощерилась, загнулась неровными краями. Хочется их отколупнуть, но руки привязаны.

Кормежка. Дверь с шипением, шкрябаньем о линолеум, растворяется и тетя Маша протискивается внутрь нашего обиталища. В каждой руке по огромному шприцу.

Я еще захватила то время, когда больных кормили ложками. Давали и первое, и второе, и компот. Правда, компот без косточек. Тогда ещё лечили, какие-то уколы ставили, заставляли таблетки проглатывать. Потом пришёл новый главный врач, и таблетки давать перестали. А во время обеда, да, тогда ещё был обед, не кормежка, стали смешивать первое и второе. А когда сократили нянечек, то туда же, в тарелку с супом и картофельным пюре стали добавлять поварешку компота. Противно, но привыкли быстро.

А теперь и вовсе упростилась кормежка. Чтобы меньше с нами возиться. Каким-то большим смесителем, миксером, я его не видела, но мне кажется, что он большой и страшный, взбивают в жидкую пасту и первое, и второе, и компот, или кисель, разливают эту массу по шприцам и кормят нас. Из них, из шприцов и кормят.

Тетя Маша подходит к Вальке, без лишних разговоров сует ей в полуоткрытые губы рожок от шприца и давит на ручку. Валька торопливо глотает, захлебывается, снова глотает, снова захлебывается, пытается отстраниться, отвернуться, но рожок упирается в край рта и не позволяет отвернуть голову.

– Вот, молодец! Молодец, жеребец, что кобыл охаживал! Ха-ха-ха!

Тетя Маша громко смеется над своей сальной шуткой, она очень довольна собой, у неё прекрасное настроение. Мне становится противно, не нужно было смотреть, как Вальку кормили, как она давилась и сплевывала то, что не успело проскочить в горло.

Шприц, грязный и скользкий, наполненный какой-то серой смесью, уже тянется к моему лицу. Тянется, тянется.... Мне страшно.

– Нет! Нет, я не хочу, не хочу! – Я кручу головой, стараюсь увернуться, спрятаться, исчезнуть....

– Ща! Захочешь!

Тетя Маша наотмашь бьет меня по лицу тыльной стороной ладони, как будто рядом сверкнула молния. Я на какое-то время, как и хотела, исчезаю, прячусь от этого мира.... Но быстро прихожу в себя, так как надо глотать эту массу, глотать, чтобы не захлебнуться. А тетя Маша, закусив губу, до упора вставила рожок в мой безвольный рот и с усилием давит на ручку. Давит, что есть сил, так, что масса врывается ко мне в рот упругой струей. Я стараюсь, стараюсь, но все же не успеваю все проглотить и захлебываюсь, закашливаюсь.

– У-у! Стерва! Чуть-чуть не дохлебала. Ха-ха-ха! Ладно, до завтра не сдохнете.

Широко покачивая огромными бедрами, тетя Маша удаляется. Шабаркается засов и все стихает. Я пытаюсь хоть как-то обтереть испачканное лицо, но ничего не получается. Ещё вчерашний, позавчерашний и совсем давнишний суп засох на валике, который крепко прикручен у меня под головой вместо подушки. Какой-то суп уже давно прокис и теперь воняет кислятиной. Нет. Это раньше он вонял кислятиной, теперь же просто пахнет кисленьким, просто пахнет. И совсем не противно.

Хорошо, что кормежка у нас всего один раз в сутки. Хорошо. У меня снова заплыли оба глаза, один от Маринки, другой от тети Маши. Это даже хорошо, что заплыли, – можно отдохнуть от этой опостылевшей палаты, от серого, в тенетах потолка, от Вальки, постоянно рвущейся на волю.

Она снова кряхтит, хрипит, выкручивает руки. Запястья у неё все в коростах от смиренных простыней, которыми нас фиксируют. – Придумали же, не привязывают, как скотину, а фиксируют. Культурно сказано. Валька хрипит и рвется, я не вижу, но представляю, как она снова сдирает все свои коросты и запястья начинают кровоточить, пачкать простынь.

Я уйду по-другому. Ещё не придумала как, но я уйду, просто исчезну. Я должна это придумать. Должна! Я уже совершенно не могу лежать на спине, хоть бы чуть-чуть, хоть бы минуточку разрешили полежать на боку. Так болит спина.... Но пока, пока заплыли глаза и ничего не видно, мир словно изменился. Он стал близким, радостным и цветным. Цветным, как та поляна, где я ждала.... Ждала.

Можно остаться в своем мире и мечтать, мечтать. А ещё я люблю вспоминать. Вспоминать нашу тихую, вольную речку, обрывистый берег, плач иволги и удивительные трели соловья. Они меня так трогали, так трогали.... Там, на берегу, стоит береза, та самая, у которой мы всегда встречались.... Кора у березы такая бархатная, такая ласковая.... В первый раз мы поцеловались именно у этой березы. Хотели поцеловаться.... Если бы он пришёл, если бы пришёл.... Всё бы случилось. Всё. Как это было сладко.... Ах, как это было сладко! Ни один нормальный человек не может понять этого до конца. Нет, не может. Им, нормальным, все кажется обыденным: случилось и случилось.

Если бы не мой горб, страшно, уродливо выпирающий и сзади и спереди.... Если бы не мой горб.... Я бы смогла стать счастливой, смогла бы.... И платье. У меня было бы то платье. Уж я бы не упустила свой шанс на счастье....

Плохой случай

Среди охотничьих рассказов довольно часто можно встретить повествование об охоте на медведя. Действительно, этот зверь достоин того, чтобы о нем рассказывали и писали больше, чем о других объектах охоты. Охотой на такого зверя могут заниматься лишь очень мужественные, сильные физически, твердые духом, смелые охотники.

Но, как бы там ни было, рассказы о таких охотах зачастую сводятся к трагическим последствиям. Конечно, ведь медведь, это зверь очень высокоорганизованный, сильный, ловкий, несмотря на кажущуюся неуклюжесть и воловость. К тому же, он часто бывает очень агрессивен и неоправданно жесток.

Жестокость его проявляется не только к особям другого вида, но и к своим собратьям. Нередки случаи, когда в припадке ярости самец легко расправляется со своей подругой, уби-

вает ее и даже съедает, несмотря на то, что он даже и не голоден, кругом полно более привычной и доступной пищи.

Порой кажется, что проступки такие, – убийство матери своих детей, не просто случаются, как бы по зверской привычке, как бы из естественного желания просто убивать, а связаны с каким-то психологическим состоянием конкретного зверя. Хотя, конечно, понимаю, что о психологическом состоянии можно говорить лишь в отношении человека. Но как же тогда объяснить, что медведь, убивший свою подругу, в первую очередь выедает у нее молочные железы, а зачастую и половые органы. Получается, что он по зверски «чуть, чуть сошел с ума».

Зная такие дурные случаи, охотники часто одаривают медведя человеческими качествами, как хитрость, коварство, мстительность, а то и даже изощренный ум. И нередко охотнику приходится крепко задуматься, чтобы обмануть, перехитрить этого зверя, выйти победителем в схватке с ним.

Нужно признать, что лишь в последние лет двадцать, может чуть больше, человек стал устраивать для себя относительно безопасную охоту на медведя, когда стрелок, – так называемый охотник, сидит высоко на вышке и стреляет из какого-то невиданного доселе оружия. Стреляет так далеко, что и не слышно даже шлепка пули по цели, не ведает, попал ли. Такая охота, практически безопасна для человека. И утверждать, что это истинная охота, – берутся не все, кто хоть как-то причастен к этому вопросу. Но это уже другая тема.

Я же в этом рассказе хочу поведать о свободных охотниках, которые ходят по лесу и надеются лишь на себя, на свою силу, ловкость, проворство, надеются на свою собаку, да на товарища, если тот окажется рядом. И о медведе, – звере довольно опасном при внезапной, неожиданной встрече.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.